

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ночной колпак старого холостяка

В Копенгагене есть улица с забавным названием «Хюсхен-стрэде». Почему она так называется и что означает это название? Слывет оно немецким, но, право, немцы тут ни при чём. Следовало бы выговаривать «Häuschen», а выговаривают Хюсхен; «Häuschenstræde» же значит: «Улица маленьких домиков». В ней и, правда, ютились домишки, вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше, да с окошками. Но стёкол в окнах не было; их заменяли роговые пластинки или бычьи пузыри, – в то время стекло ещё было так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно, ведь, это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их «старыми временами». Не одно столетие прошло с тех пор.

В Копенгагене вели в те времена торговлю богатые купцы из Бремена и Любека, разумеется, не сами, а через своих приказчиков. Последние-то и занимали эти деревянные лачуги в улице «Маленьких домиков»; в нижнем этаже каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было! И Бремер-Прусское, и Эмское, и Брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а бойчее всего – перцем. Перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании «перечными молодцами». Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться, обшить, обмыть; самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах – тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости; у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали

свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых и неженатых мужчин «перечными молодцами».<sup>[1]</sup>

Всё это нужно знать, чтобы понять рассказ.

Над холостяком все подсмеиваются, – пусть, дескать, нахлобучит свой ночной колпак, да заваливается на боковую! О холостяках даже песенку сложили:

Пили, пили дрова  
Ты, старый холостяк!  
Седая голова,  
Твой друг – ночной колпак!

Да, вот что поют о них! Смеются и над холостяком и над его колпаком – потому что мало знают и о том, и о другом. Ах, никто не пожелай себе этого ночного колпака! Почему так? А вот послушай!

В те времена в улице «Маленьких домиков» не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была! Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину; надо всей улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавком мало попадалось молодых приказчиков, больше всё старики. Но не подумай, что все они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колен и куртки или кафтаны, застёгнутые на все пуговицы. Нет, так одевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. «Перечным молодцам» же не по карману было заказывать свои портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, как он стоял за прилавком или шёл в праздник к обедне! Наряд их состоял из широкополой, с высокой тульёй,<sup>[2]</sup> шляпы (приказчики помоложе часто украшали свои шляпы пёрышками), шерстяной рубашки, прикрытой отложным полотняным воротничком, куртки, застёгнутой наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, – чулок они не носили. За поясом у каждого был заткнут нож, ложка и ещё

большой нож для защиты, – в те времена случалась и в этом нужда. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы «Маленьких домиков», только вместо шляпы он носил шапку, с длинными наушниками, а под ней вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днём, ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Вот с Антона то и стоило бы списать портрет: худ он был, как щепка, вокруг рта и глаз ёжились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, над глазами нависли густые, седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не красил Антона, то служил зато характерною приметой. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Эйзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться – зато много думал о ней.

Старые приказчики не часто виделись друг с другом, каждый больше держался в своём уголке. Запирались лавочки рано, и домишки сразу погружались в мрак; лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, уютившейся под самую крышей, чуть светился огонёк; старичок-обитатель каморки чаще всего сидел в это время на своей постели, с немецким молитвенником в руках и напевал вечерний псалом, или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. Не сладко-то жилось ему: чужой всем, на чужбине – что уж за житьё! Никому до него нет дела, разве станет кому поперёк дороги!

Улица в глухую, тёмную, ненастную ночь смотрела такую пустынную, мрачную; на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце её, перед нарисованным на стене образом Божьей Матери. Слышался лишь плеск воды, сбегавшей по деревянной обшивке набережной, – другой конец улицы выходил на канал. Таким вечерам и конца не бывает, если не займёшься чем-нибудь. А чем заняться старому холостяку? Развёртывать и завёртывать товары, свёртывать «фунтики», чистить весы не приходится, ведь, каждый день; надо, значит, заняться чем-нибудь другим. Старый Антон и находил себе занятия – сам чинил своё платье, сам ставил заплатки на сапоги. Улёгшись же,

наконец, в постель в своём неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед затем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал её на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повёртываясь на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Но часто в эту самую минуту ему приходило на мысль: а прогорели ли все уголья в грелке, оставленной внизу в лавочке, потухла ли зола? Довольно, ведь, одной искорки, и не миновать беды! И вот, он вставал с постели, осторожно слезал с крутой лесенки – лестницей её и назвать было нельзя – и, добравшись до грелки, убеждался, что в ней не тлелось ни уголька. Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто ещё на полдороге его брало сомнение: заперты ли на крюк двери и ставни? – и он снова ковылял на своих тонких ногах вниз. Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели; известно, ведь, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, когда видит, что тот спасся от неё в тёплую постель. Антон повыше натягивал на себя пуховик,<sup>[3]</sup> нахлобучивал колпак на глаза, и мысли его, наконец, отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему! На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои узорчатые ковры. Но в них часто попадаются острые булавки, – уколют так, что невольно закричишь от боли, а если воткнутся тебе в живое тело поглубже – даже слёзы прошибут! Падая на пуховик или на пол, эти чистые, прозрачные, как жемчужины, слёзы звенят, словно лопаются наболевшие сердечные струны. Слёзы скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого, одну из тех, что никогда не изглаживаются из памяти. Антон отирал эти слёзы ночным колпаком – и слеза, и картина стирались, но источник их, разумеется, оставался, – источником было, ведь, сердце старика. Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности; чаще всего рисовались самые печальные, мрачные, но являлись и светлые, радостные; эти-то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего.

«Хороши датские буковые леса!» говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где вьющиеся растения обвивали каменистые скалы; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские! Он всё ещё как будто вдыхал их аромат!.. Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей: мальчика и девочку. У мальчика были красные щёки, светлые кудри и честные, голубые глаза; он был сыном богатого торговца, звали его Антоном... Да, это он сам! У девочки же были чёрные глаза и чёрные волосы, умный и смелый взгляд; это была дочка городского головы, Молли. Дети играли яблоком; трясли его и прислушивались, как гремят в нём зёрнышки. Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. Зёрнышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю, – так придумала девочка.

– Вот увидишь потом, что из него выйдет! Ты и не ожидаешь – что! Целая яблоня, только не сейчас!

И дети принялись хлопотать с зёрнышком, достали цветочный горшок с землёй, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зёрнышко, и оба старательно закопали его.

– Только смотри, не вздумай завтра вытаскивать зёрнышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! – сказала Молли Антону. – Этого нельзя! Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза, – я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я ещё не понимала, что этого нельзя – и цветочки погибли!

Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь, но, кроме чёрной земли, в горшке ничего не было. Наконец, настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выглянули два крошечных, зелёных листочка.

– Это я с Молли! – сказал Антон. – Вот чудесно-то!

Скоро появился и третий листочек, – а это кто же? Потом ещё и ещё! День за днём, неделя за неделей, и из зёрнышка выросло целое деревцо. Всё это осветила одна слезинка; вот её стерли,

и всё исчезло. Но источник слёз был неиссякаем, – источником было, ведь, сердце старого Антона.

Близ Эйзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена, – ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут её горой Венеры: по преданию здесь жила Венера, древняя языческая богиня; но немцы переименовали её в госпожу Голле, которую знает в Эйзенахе каждый ребёнок. Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера,<sup>[4]</sup> миннезингера из Вартбурга.

Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала: – Ну-ка, постучи и крикни: Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори Тангейзеру!

Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только: «Госпожа Голле, госпожа Голле», остальное же пробормотала так невнятно, что, по мнению Антона, ничего собственно и не сказала. Смелая была эта Молли! Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем – именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелуев руками и ногами.

– Я смею его поцеловать! – говорила Молли гордо и обвивала шею Антона рукой.

Это было её торжеством, Антон же покорялся ей, вовсе не думая о том, что делает. Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая!

Госпожа Голле, что жила в горе, тоже, говорят, была хороша собою, но её красота была соблазнительною красотой зла. Высшею красотой считалась, напротив, красота Св. Елисаветы,<sup>[5]</sup> покровительницы страны, благочестивой Тюрингенской герцогини, добрые дела которой живут в легендах и сказаниях, освящающих здешние места. В часовне висел её образ, а перед ним серебряная лампада. Но Св. Елисавета нисколько не была похожа на Молли.

А яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить её в сад, под открытое небо, где её кропило росой, пригревало солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от

радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка: одно для Молли и одно для Антона, – меньше уж никак нельзя было.

Дерево торопилось расти, Молли не отставала; она напоминала своею свежестью цветков яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Всё проходит, всё изменяется! Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился на восток от Эйзенаха, совсем в другом конце страны; это был город Веймар.

Молли плакала, и Антон плакал – все эти слёзы соединились теперь в одну, отливавшую яркими радужными красками: Молли, ведь, сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!

Прошёл год, два, три. За это время от Молли пришло два письма; одно привёз с собой торговый комиссионер, другое какой-то проезжий. Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек.

Всякий раз, как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изольде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, хотя имя Тристан означало «рождённый для скорби», а это совсем не подходило к Антону. Ему, ведь, не придётся, как Тристану, вздыхать: «она забыла меня!» Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковною крышей. История эта казалась Антону такую поэтической и такую печальною... Но в его отношениях к Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон-дер-Фогельвейде:

«Ах, под липой, в степи!..»

Особенно дивно звучали следующие строфы:

«Раздаётся из леса душистого  
□Тиндарадай!

Трель певца – соловья голосистого!»

Песня эта вечно вертелась у него на языке; он напевал и насвистывал её и в ту ясную лунную ночь, когда нёсся на коне в Веймар навестить Молли; он хотел явиться неожиданным гостем – так и вышло.

Приняли его ласково; вино запенилось в бокалах; он встретил здесь весёлое, знатное общество, нашёл уютную комнатку и мягкую постель, и всё же – не того ожидал он, не о том мечтал! Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то поймём, в чём было дело! Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе, и всё-таки чувствовать себя чужим; разговоры ведёшь, как в почтовой карете, знакомишься, как в почтовой карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спровадить своего доброго соседа! Нечто подобное испытал и Антон.

– Я честная девушка! – сказала ему Молли. – И сама хочу сказать тебе всё. Много изменилось с той поры, как мы были детьми. Перемены эти и внешние, и внутренние. Привычка и желание ничего не могут поделать с сердцем! Антон! Уезжая отсюда далеко-далеко, я не желала бы расстаться с тобою, как с недругом! Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! Примиришь с этим!.. Прощай Антон!

И Антон отвечал: «Прощай!» Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. И раскалённая и замёрзшая пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целоваться с ними, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью, и с ненавистью!

Не прошло и суток, как Антон был уже дома. Зато он и загнал лошадь.

– Пусть! – сказал он. – Я сам загнан и хотел бы загнать, уничтожить всё, что напоминает мне о ней – госпоже Голле, госпоже Голле, госпоже Венере, проклятой язычнице!.. Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски! Не цвести ей больше, не приносить плодов!

Но не дерево было сломлено, а сам Антон: жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? –

Подоспело лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу – удар судьбы: отец Антона разорился. Тяжёлые дни, дни испытания стучались в дверь, беда уже вломилась в неё, хлынула в когда-то богатый дом волною. Отец Антона обеднел, горе и заботы надломили его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры, да злобы на Молли. Теперь он должен был заменить в доме и хозяина, и хозяйку, распорядиться всем, привести в порядок всё. Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен, немало изведаль нужды и горя, а это либо закаляет душу, либо расслабляет её – иной раз даже чересчур. Как, однако, не соответствовали свет и люди сложившемуся у него в пору детства представлению о них! А песни миннезингеров, что они такое? – рассуждал он теперь. – Звук пустой! – Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался.

– Бог всё устраивает к лучшему! – говорил он себе. – И хорошо сделал Он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моём разорении. Бог оказал мне милость! Всё было к лучшему! Он устраивает всё премудро! Она не была виновата ни в чём, а я-то возненавидел её!

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось всё-таки увидеть его ещё раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Эйзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; всё было, как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своею серою, голою вершиной. Как охотно постучался бы в неё Антон и сказал: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли!»

Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом; тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня:

«Раздаётся из леса душистого

□Тиндарадай!

Трель певца – соловья голосистого!»

Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство; слёзы застилали его глаза. Отцовский дом стоял всё на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которой он так и не вырвал, очутилась вне сада, по ту сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало её, роса кропила, и ветви её гнулись, под обилием плодов, к самой земле.

– Растёт себе! – сказал Антон. – Что ей делается!

Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьею-то шальной рукой; дерево стояло, ведь, у проезжей дороги!

«Обрывают её цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви! Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека: „не пели над его колыбелью, что ему придётся когда-нибудь стоять вот так!“ Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги! Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное! Все его теребят, ломают! Оно ещё не вянет от этого, но с годами цветов на нём будет всё меньше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец».

Вот что думал Антон под деревом; те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провёл он в своей одинокой каморке, в деревянной лачуге, на чужой стороне, в улице «Маленьких домиков», в Копенгагене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, взяв с него сначала слово никогда не жениться.

– Жениться! Хэ, хэ! – рассмеялся он странным, глухим смехом.

Зима установилась в этот год рано; мороз так и трещал; на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, держались у себя в тёплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже два дня, – кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома?

Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким

подслеповатым оконцем, долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон два дня не вставал с постели, – силы его оставили. Непогода давала себя знать ломотой во всём теле. Одиноким, беспомощным, оставленным всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот, в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно пряд над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, свежий траурный креп к тому времени, когда старик закроет глаза.

Антон одолевала тяжёлая дремота. Слёз у него не было, боли он тоже не чувствовал, о Молли и не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него, – он остался как-то в стороне: никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить... Да, правда, он ощущал и голод, и жажду. Но никто не приходил утолить их, никто и не придёт. И он вспомнил о других голодающих, и о св. Елисавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине Тюрингенской, которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. Благочестивые дела её сияли в его памяти: он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, приносила голодным пищу, хотя её суровый муж и гневался на неё за это. Антон вспомнил и легенду о св. Елисавете. Однажды она отправилась по обыкновению с корзинкой, наполненной съестными припасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, следивший за каждым её шагом, и спросил, что у неё в корзине. Святая в испуге отвечала: «Розы из сада». Муж сорвал салфетку и – чудо совершилось для благочестивой женщины: вино и хлеб превратились в розы!

Св. Елисавета не выходила из головы Антона; как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. Он обнажил голову, взглянул в её кроткие глаза, и – всё вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами... Как они благоухали! К их аромату

примешивался запах цветов яблони... Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли.

Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном.

– Теперь я засну! – прошептал он. – Сон подкрепляет! Завтра я опять буду здоров, опять встану! Как хорошо, как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зёрнышка любви.

И он заснул.

На другой день – это был уже третий день, что лавка Антона не отпиралась – вьюга утихла, и соседи хватились старика. Его нашли мёртвым в постели; в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Но его не положили с Антоном в гроб: в запасе был ещё один, чистый, ненадёванный.

Куда же девались теперь все слёзы Антона? Куда девались эти жемчужины? Они остались в его ночном колпаке, – их, ведь, нельзя было отмыть никаким мылом, они так и остались в колпаке скрытыми и забытыми. Мысли и думы тоже остались в колпаке старого холостяка. Не пожелай его себе! Лоб твой разгорячится, пульс забьётся ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. Это пришлось испытать первому же, кто надел колпак, а случилось-то это спустя целых пятьдесят лет! Надел его сам городской голова, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в своё удовольствие, и ему сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и борьба из-за куска хлеба!

– Фу, как этот колпак греет! – сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужинка, потом другая; как они зазвенели и заблестели! – Это ревматизм! – решил голова. – И в ушах звенит, и из глаз искры сыплются!

А это были слёзы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Эйзенаха.

И кому ни попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны; он как будто сам переживал историю Антона.

Выходила целая сказка, да и не одна. Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим её словами: «никто не пожелай себе колпака старого холостяка»!

---

<sup>[1]</sup> По-датски старый холостяк – «Rebersvend», т. е. перечный молодец.

<sup>[2]</sup> Тулья – основная, верхняя часть шляпы.

<sup>[3]</sup> В Дании и до сих пор, особенно среди сельского населения, принято спать зимой под тонкими перинами, вместо одеял.

<sup>[4]</sup> Тангейзер – немецкий средневековый поэт.

<sup>[5]</sup> Елизавета Венгерская – ландграфиня Тюрингии, католическая святая.



 Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Суп из колбасной палочки



## 1. Суп из колбасной палочки

– Ну и обед был вчера! – рассказывала старая мышь другой, не участвовавшей в пире. – Я сидела двадцать первой от самого мышинога царя, – место довольно почётное! Блюда, скажу я вам, были подобраны прекрасно! Затхлый хлеб, жирная кожа от окорока, сальные свечи и колбаса, а потом то же самое с начала, – как будто два раза пообедали! Настроение за обедом было самое оживлённое, болтали всякий вздор, – совсем как в семейном кружке! Съедено было всё до крошки; одни колбасные палочки остались. О них-то и зашла речь, т. е. собственно о супе из колбасной палочки. Кто не слышал о нём, но кто едал его, не говоря уже о том, кто умел его готовить?! Был предложен прелестный тост за изобретателя супа: сказали, что он заслуживает быть попечителем бедных! Остроумно, не правда ли? А старый мышиный царь встал и объявил, что сделает царицей ту из молодых мышек, которая сварит ему из колбасной палочки самый вкусный суп. На подготовку и размышление даётся целый год!

– Недурно! – заметила собеседница. – Ну, а как же варят этот суп?

– Да, то-то вот и есть! Об этом-то и спрашивают наперерыв все мышки – и молодые, и старые. Каждой хочется стать царицей, а вот побеспокоить себя, походить по белу свету, да поучиться стряпать этот суп ни одной не хочется, а надо! Да, не всякой-то по плечу оставить семью и насиженный уголок! На чужой стороне, небось, не всё по сырным коркам придётся ходить, не всё свиное сало нюхать, нет, придётся и поголодать, а, пожалуй, и угодить в когти кошке!

Вот эти-то мысли и удерживали молодых мышек от странствования по белу свету. Вызвались пуститься в поиски за знанием только четыре молодые, юркие, но бедные мышки. Каждой предстояло отправиться в одну из четырёх сторон света, а там уж всё зависело от счастья! Каждая запаслась в дорогу, вместо дорожного посоха, колбасною палочкой – для памятованья о цели путешествия.

Первого мая они отправились в путь и первого же мая ровно

через год вернулись, но только три, четвёртая не явилась и не дала о себе знать, а день явки настал.

– Увы! к лучшим нашим удовольствиям всегда примешивается капля горечи! – произнёс мышиный царь, но всё-таки отдал приказ созвать всех мышей – и ближних, и дальних.

Все должны были собраться в кухне. Три мышки-странницы стояли в ряд, отдельно от прочих; на месте же отсутствующей четвёртой водрузили колбасную палочку, обвитую чёрным крепом. Никто не должен был высказывать своего мнения, пока не выскажутся все три мышки, а мышиный царь не объявит, что должно быть сказано дальше.

## **2. Что вынесла из своего странствования первая мышка**

– Пускаясь в свет, – начала мышка: – я, как и многие мои ровесницы, воображала, что успела уже проглотить всю житейскую мудрость; как бы не так! Много воды утечёт, пока оно будет так на деле! Я решилась отправиться морем и села на корабль, отплывавший на север. Мне случилось слышать, что корабельный повар должен уметь обойтись малым; да как не обойтись, когда под рукой целые свиные туши, полные бочки солонины и затхлой муки! Что и говорить, стол на корабле прекрасный, но нечего и думать о том, чтобы научиться там варить суп из колбасной палочки! Много ночей и дней плыли мы; и качало нас, и обдавало солёными брызгами – всего было! Когда же мы, наконец, прибыли куда следовало, я оставила корабль; оказалось, что мы были далеко-далеко от родины, на севере.

А странно в самом деле: покидаешь свой дом, свой насиженный уголок, плывёшь на корабле, где у тебя тоже образуется своего рода уголок, и глядь – очутилась за сотни миль от родины на чужой стороне! Там были дремучие сосновые и берёзовые леса; как сильно пахли эти деревья! Но я не охотница до такого запаха! А лесные и полевые травы испускали такой пряный аромат, что я расчихалась и сейчас же подумала о колбасе. Были тут и большие лесные озёра; вблизи вода в них казалась такую прозрачную, светлую, а издали – чёрною, как чернила. По озерам плавали белые лебеди. Сначала я приняла было их за пену – так

неподвижно они лежали на воде, но потом увидела, что они летают и ходят, и узнала их. Они, ведь, из породы гусей, – сразу видно по их походке. Вообще от родни не следует отпираться! И я тоже держалась своей родни – лесных и полевых мышей, но они оказались ужасными невеждами, особенно по части угощения, а, ведь, для чего же я и пустилась в далёкий путь?! Самая мысль о том, что можно сварить суп из колбасной палочки, до того их поразила, что сразу же облетела весь лес. Что же касается осуществления её, то его сочли прямо невозможным. Да, и не думала я, и не гадала, что именно там, да ещё в ту же ночь, меня посвятят в тайну изготовления супа!

Была как раз середина лета, оттого-то в лесу так сильно и пахло, растения испускали такой пряный аромат, озёра были такими прозрачными и вместе с тем такими тёмными, а на них неподвижно лежали белые лебеди. На опушке леса, где стояли три – четыре домика, возвышался шест, вышиною с мачту; верхушка его была украшена венком и лентами. Это был «майский шест».<sup>[1]</sup> Девушки и парни плясали вокруг него и пели взапуски со скрипками. Солнышко закатилось, взошла луна, а веселье всё продолжалось. Я в нём участия не принимала; куда уж нашей сестре соваться в танцы! Я сидела себе на мягком мху, крепко держа в лапках свою колбасную палочку. Одно местечко в лесу было просто залито лунным светом; там стояло дерево, обросшее таким мягким, нежным мхом, как... да, смею сказать, как шкурка самого мышиноного царя, но цвета он был зелёного, – просто благодать для глаз! И вдруг, откуда ни возьмись, под деревом появился целый полк прелестнейших малюток, ростом мне по колено! Вообще они были похожи на людей, но куда лучше сложены. Они называли себя эльфами; платица на них были из цветочных лепестков, с отделкой из крылышек мух и комаров, – очень недурно! Видно было, что они ищут чего-то, но чего? Вдруг несколько крошек подошли ко мне, и один, по-видимому, самый знатный из них, указал на мою колбасную палочку и сказал:

– Вот какую нам нужно! Она заострена на конце, как раз подходит!

И чем дольше он смотрел на неё, тем больше восхищался.

– Одолжить – одолжу, но чур – назад попрошу! – сказала я.

– Назад, назад! – сказали все в один голос, взялись за палочку, – я её выпустила из лапок – вприпрыжку добежали с нею до освещённого луной местечка и водрузили её там в травке.

Им тоже хотелось устроить свой «майский шест», и моя палочка подошла им как раз; точно по заказу была сделана! Затем, они принялись убирать её. И преобразилась же моя палочка!

Маленькие паучки опутали её золотыми нитями, прозрачным флёром и развевающимися знамёнами; они были так нежны, так воздушны, что колыхались от малейшего дуновения ветерка, и так сверкали при свете луны, что просто глазам было больно! А эльфы ещё взяли разноцветной пыли с крыльев бабочек, посыпали ею эти блестящие ткани, и они вмиг загорелись радужными огнями, словно усыпанные бриллиантами! Я просто не узнавала своей колбасной палочки; другого такого майского шеста, в какой превратилась она, наверно, не нашлось бы в целом свете! Вот тут-то я и увидела настоящее великосветское общество эльфов; все они были без платьев, – изящнее наряда и быть не могло. Меня пригласили полюбоваться на праздник, но издали: я была для них слишком велика ростом.

Ну и пошло у них веселье! Сначала как будто зазвенели тысячи стеклянных колокольчиков, потом мне показалось, что запели лебеди, потом как будто закуковали кукушки, защёлкали дрозды, а под конец стало казаться, что поёт весь лес! Детские голоса, звон колокольчиков и пение птиц – всё сливалось в чудеснейшую мелодию, а инструментом был один майский шест эльфов! Моя колбасная палочка задала целый концерт! Никогда я не думала, чтобы из неё можно было извлечь столько, но всё, видно, зависит от того, в чьи руки попадёт вещь! Я даже растрогалась и заплакала от удовольствия.

Ночь была слишком коротка! Но там в это время года они длиннее не бывают. На заре подул ветерок, зарябил поверхность лесного озера и развеял по воздуху тонкие, воздушные знамёна и флер. Качающихся киосков из паутины, висячих мостов и балюстрад, – или как они там называются – что перекидывались с листка на листок, тоже как не бывало! Шестеро эльфов принесли мне мою

колбасную палочку и спросили, нет ли у меня какого-нибудь желания, которое бы они могли исполнить. Я попросила их сказать мне, как готовят суп из колбасной палочки?

– Как мы готовим его? – переспросил самый знатный и засмеялся.

– Да ты, ведь, только что видела это! Ты, пожалуй, едва узнала свою колбасную палочку!

– Вы не так поняли меня! – ответила я и рассказала начистоту, зачем пустилась странствовать по белу свету и чего ожидали от моего странствования у нас, на родине. – Какая польза, – добавила я: – нашему царю и всему нашему славному мышинному царству от того, что я видела всё это великолепие? Ведь, не могу же я тряхнуть своею колбасною палочкой и сказать: «Вот вам палочка, а вот и суп!» А это бы годилось хоть на десерт – после очень сытного обеда!

Тогда эльф опустил свой мизинчик в чашечку голубой фиалки и сказал мне:

– Смотри! Я проведу пальцем по твоему дорожному посоху, и, когда ты вернёшься домой, во дворец мышиного царя, дотронься кончиком палочки до тёплой груди царя – из палочки посыплются фиалки, хотя бы это было среди суровой зимы! Теперь у тебя будет с чем явиться домой! В придачу же...

Но мышка не договорила, что дали ей в придачу, дотронулась до груди царя своею палочкою, и в самом деле из неё дождём посыпались чудеснейшие фиалки. Благоухали они так сильно, что мышиный царь велел мышам, стоявшим поближе к печке, немедленно сунуть хвосты в огонь, и покурить ими в кухне, а то сил не было выносить благоухание фиалок, – этого сорта духов он не любил.

– Ну, а что же эльфы дали в придачу? – спросил он потом.

– А это, видите ли, так называемый эффект! – Она подняла колбасную палочку кверху, и цветы перестали сыпаться; в руках у мышки была опять голая палочка. Мышка взмахнула ею, как капельмейстер своим жезлом перед началом увертюры. – Фиалки услаждают зрение, обоняние и осязание! – сказала она. – Но нужно ещё удовлетворить слух и вкус!

И вот, она замахала палочкой – в ту же минуту загремела музыка, не такая, как в лесу на празднике эльфов, но какая

слышится в кухнях. Вот так потеха пошла! Тут как будто и ветер свистел в трубах, и котлы с горшками кипели и бурлили напропалую, и лопаточка для углей барабанила по медному котлу! Вдруг всё смолкло. Послышалось тихое пение чайного котла... И не разобрать было, начинает ли он только свою арию или уже кончает. Но вот, закипел маленький горшочек, за ним большой, и пошли каждый кипеть по-своему, не обращая внимания друг на друга, – ни дать, ни взять, пустые горшки! А мышка махала своею палочкой всё скорее и скорее: горшки пенились, пузырились, кипели через край, ветер выл, трубы свистели... Жж! Все так перетрусили, что и сама мышка уронила палочку.

– Ну, этот суп не скоро переваришь! – сказал мышиный царь. – А десерта не будет?

– Нет, это всё! – отвечала мышка, приседая.

– Всё? Ну, так послушаем, что скажет нам следующая! – решил мышиный царь.

### **3. Что сумела рассказать вторая мышка**

– Я родилась в дворцовой библиотеке! – начала вторая мышь. – Ни мне, ни моим родным никогда не выпадало на долю счастья попасть в столовую, не говоря уже о кладовой. Я и в кухне-то всего во второй раз в жизни, – первый раз я была здесь, когда откланивалась перед отъездом. Да, мы таки частенько голодали в библиотеке, но зато поглощали массу знаний. И вот, до нас дошёл слух о царской награде, обещанной за приготовление супа из колбасной палочки. Тогда-то моя бабушка и вытащила на свет Божий одну рукопись; сама бабушка не умела читать, но слышала, как эту рукопись читали вслух. В ней, между прочим, говорилось, что «поэт способен сварить суп из колбасной палочки». Бабушка спросила меня – не поэт ли я? Я отвечала, что в чём другом, а уж в этом-то я неповинна. Тогда бабушка сказала: «Так ступай и постарайся сделаться поэтом!» – А что нужно для этого? – спросила я. Додуматься до этого самой было для меня, ведь, не легче, чем сварить суп! Но бабушка моя слышала и об этом и сказала, что поэту прежде всего нужны три вещи: ум, фантазия и чувство! «Ступай и добудь их, а раз

ты станешь поэтом, нетрудно будет справиться и с колбасною палочкой!» прибавила бабушка.

Ну, вот, я и пустилась на запад, чтобы сделаться поэтом.

Я знала, что ум вообще главное, фантазия же и чувство не в таком почёте. Поэтому я решилась пуститься прежде всего в поиски за умом. Только где его искать? «Ступай к муравью и поучись у него мудрости!» сказал великий царь Соломон – это я узнала ещё в библиотеке – и я шла, не останавливаясь, пока не наткнулась на муравейник. Тут-то я и наострила уши, чтобы набраться ума.

Очень почтенный народ, эти муравьи! Они – воплощение ума! Вся их жизнь – верно решённая арифметическая задача. «Работать и класть яйца», говорят они, «значит жить настоящим и заботиться о будущем». Так они и поступают. Делятся они на два класса: на благородных и рабочих. Чин же у них всего один, чин первого класса; представительницей его является одна царица их, и только её мнение и считается непогрешимым, – она, как оказывалось, проглотила всю мудрость на свете! Мне это было очень важно узнать. Она говорила так много и так умно, что, по-моему, выходило просто глупо. Она говорила, что их куча выше всего на свете, но рядом с кучей росло дерево, куда выше! Этого нельзя было даже отрицать, и потому об этом вовсе умалчивалось. Но раз вечером один муравей заблудился на том дереве и вполз по стволу его хоть и не до самой вершины, но всё же выше, чем вползал раньше кто-либо из его муравейника. Повернув назад и добравшись, наконец, до дому, он поспешил рассказать, что есть кое-что и повыше их муравейника! Но муравьи нашли, что он оскорбляет своим рассказом всё общество, надели на него намордник и присудили к продолжительному одиночному заключению. Вскоре случилось побывать на том же дереве другому муравью; он сделал то же самое открытие и начал докладывать о нём обществу, но более рассудительно и туманно, чем первый. Этот муравей был всеми уважаем, принадлежал к числу благородных – ему и поверили, а когда он умер, даже поставили ему памятник из яичной скорлупы, – всё из уважения к науке. Видела я тоже, – продолжала мышка: – что муравьи постоянно носят со своими яичками на спине. Случилось одному

из них потерять своё. Батюшки, как хлопотал он, чтобы как-нибудь опять взвалить его на спину! Но дело всё не ладилось; тогда явились на помощь двое других и с таким жаром принялись помогать товарищу, что чуть было сами не потеряли своих яичек; но тут они сразу оставили всякое попечение: своя шкурка, ведь, ближе к телу! И царица их объявила, что в данном случае было выказано и сердце, и ум. «А эти две вещи ставят нас, муравьёв, во главе всех разумных творений! Но ум всё-таки должен преобладать, и я умнее всех!» Тут она приподнялась на задние лапки и сразу бросилась мне в глаза; ошибки быть не могло – я и проглотила её. Сказано: «ступай к муравью и поучись у него мудрости» – а я запаслась теперь самую царицей муравьев!

Потом я подошла поближе к упомянутому высокому дереву. Это был старый, могучий развесистый дуб. Я знала, что в ветвях каждого дерева живёт одно существо, женщина, «дриада», как её зовут. Она рождается и умирает вместе с деревом. Я слышала об этом ещё в библиотеке. И вот, передо мною стояло дерево, а в ветвях его сидела дриада. Она вскрикнула от испуга, увидав меня так близко, – она, как и все женщины, очень боялась мышей, да у неё и были на то причины: я могла, ведь, перегрызть ствол дуба, так что жизнь её, так сказать, висела на волоске! Но я заговорила с ней ласково, приветливо, и она ободрилась, даже взяла меня на руки, а узнав, почему я отправилась странствовать по белу свету, обещала доставить мне случай – может быть даже в этот самый вечер – обрести одно из двух искомым сокровищ: фантазию. Она рассказала мне, что гений Фантазии – её добрый друг, что он прекрасен, как сам бог любви и часто отдыхает в тени её дерева, убаюкиваемый шелестом листьев, – они шумят в эти минуты сильнее обыкновенного. Он зовёт её своею дриадой, рассказывала она, а дерево – своим любимым деревом. Сучковатый, могучий красавец-дуб пришёлся ему по душе: корни дуба так глубоко и крепко сидят в земле, а ствол и вершина возносятся высоко-высоко к небу и знакомы и со снежной вьюгой, и с резкими ветрами, и с ясным солнечным светом. Потом дриада прибавила: «Птицы гнездятся в ветвях моего дерева и поют нам о чужих странах, а на единственной засохшей ветви свил себе гнездо аист, – это и красит дерево, и

даёт случай узнать кое-что о стране пирамид! Всё это как нельзя больше по душе гению Фантазии, но ему и этого всего мало, и он заставляет меня рассказывать ему о жизни в лесу с того времени, как я была ещё крошкой, а дуб таким маленьким ростком, что его могла заглушить крапива. Я должна рассказывать ему всю нашу жизнь вплоть до настоящего времени, когда мы с дубом достигли полного расцвета и красоты. Присядь же тут под диким яминником и карауль: как только гений Фантазии придёт, я улучу минутку, вытащу у него из крыла одно пёрышко и дам тебе. А уж больше этого не получить ни одному поэту! Так хватит и с тебя!»

– И гений Фантазии явился, пёрышко было вытащено, и я схватила его! – продолжала мышка. – Я подержала его в воде, пока оно не размякло, и всё-таки трудновато было с ним сладить! Ну, да я сладила, всё изгрызла! Да, не легко догрызться до звания поэта! Переварить-то сколько приходится! Теперь во мне были и ум, и фантазия, и они-то мне и подсказали, что третью вещь я найду в библиотеке. Один великий человек сказал и даже написал, что есть такие романы, которые только для того и существуют, чтобы освобождать людей от лишних слёз, иными словами, являются чем-то вроде губок для вбирания в себя чувств. Я даже помнила пару таких книг; они всегда особенно возбуждали мой аппетит, – такие они были истрёпанные, засаленные; должно быть, они восприняли в себя целое море чувств!

Я вернулась домой, в библиотеку, и живо проглотила почти целый роман, то есть более существенную часть, мякоть, а корки, переплёт оставила. Когда я переварила этот роман и ещё один, я уже почувствовала, как внутри меня что-то зашевелилось, когда же поела ещё немножко из третьего – стала поэтом. Я сказала это самой себе и повторила другим. У меня болела и голова, и все внутренности и не знаю уж, что только во мне не болело! Тут я стала придумывать, какие истории можно было бы привести в связи с колбасною палочкой, и в мыслях у меня так и заскакали разные палочки, – муравьиная царица, как видно, была необыкновенно умна! Я вспомнила и о человеке, которому стоило взять в рот белую палочку, чтобы сделаться невидимкой, и

многие другие истории, пословицы и поговорки, в которых упоминается о палочках. Все мои мысли повисли на этих палочках! И о каждой можно сочинить стихи, если ты поэт, а я – поэт, я добилась этого звания собственными зубами! Так вот, я ежедневно могу угощать вас палочкой – историей. Вот каков мой суп!

– Посмотрим, что скажет нам третья? – проговорил мышиный царь.  
– Пи-пи! – послышался вдруг писк за дверью, и в кухню стрелой влетела четвёртая мышка, которая считалась погибшей. Она опрокинула палочку с флёром и объявила, что бежала день и ночь, ехала по железной дороге с товарным поездом, – случай такой выдался – и всё-таки чуть-чуть не опоздала. Она протолкалась вперёд; вид у неё был довольно растрёпанный; палочку свою она потеряла, но язык – нет, и в ту же минуту принялась им работать, словно её только и ждали, её и готовились слушать, а до всего остального никому в свете не было и дела. Она спешила высказаться. Явилась она так неожиданно, что никто не успел и рта разинуть, и с мыслями собраться, а она уж говорила.

Послушаем!

#### **4. Что сумела рассказать четвёртая мышка, говорившая раньше третьей**

– Я прямо направилась в самый большой город! – тараторила она.  
– Имени его не упомяну, я вообще плохо запоминаю имена. Приехала я по железной дороге, а с вокзала меня, вместе с конфискованными товарами, отвезли в ратушу. Там я подбежала к тюремщику. Он рассказывал о своих заключённых, особенно об одном, который сидел за свои необдуманные слова. Об этих словах и толковали, и совещались, и читали, и писали!.. «Ай всё-то дело – суп из колбасной палочки! Но как бы бедняге не поплатиться за него головой!» прибавил тюремщик. Конечно, я заинтересовалась этим заключённым, улучила минутку, да и прошмыгнула к нему: как ни запирай двери, всегда останется мышинная лазейка! Какой он был бледный, бородатый! Большие глаза так и горели. Лампа чадила, но стены уж привыкли к этому

и больше не чернели. Заключённый чертил на них разные рисунки и стихи – белым на чёрном; я их, впрочем, не читала. Скучно ему, я думаю, было, и я явилась желанною гостьей. Он стал приманивать меня хлебными крошками, принялся насвистывать и ласково уговаривать меня; он так рад был мне! Я почувствовала к нему доверие, и мы скоро стали друзьями. Он делился со мной хлебом и водою, давал мне сыру и колбасы, словом, жилось мне привольно, но, главным образом, признаюсь, привязало меня к нему хорошее обращение. Он позволял мне бегать по своей ладони, по руке, забираться в рукав, цепляться за бороду и звал меня своим маленьким другом. И я его полюбила, – это, кажется, всегда бывает взаимно. Я забыла даже цель своего путешествия, а колбасную палочку свою оставила в щели в полу; там она и по-сейчас! Я и не желала никуда уходить оттуда, – уйди я, у бедняги не осталось бы никого на свете, а это уж больно мало! Я и осталась, но он-то не остался! Как печально он говорил со мною перед разлукою! Дал мне двойную порцию хлеба и сырной корки, послал мне воздушный поцелуй, ушёл... и больше не вернулся! Я не знаю его истории. «Суп из колбасной палочки» говорил сторож, я и отправилась к нему. Но не следовало бы мне доверяться ему! Он, правда, взял меня на руки, но потом засадил в клетку, в колесо! Один ужас! Бежишь, бежишь, а всё ни с места, только смеются над тобою!

Но у тюремщика была внучка, прелестная крошка с золотыми кудрями, весёлыми глазками и смеющимся ротиком. «Бедная мышка!» сказала она, заглянув в мою гадкую клетку, открыла дверцу – я прыг на подоконник, а оттуда на крышу. «Опять на воле! Опять на воле!» только это и вертелось у меня в голове, а цель путешествия вылетела.

Темно было; дело шло к ночи, я и заночевала в старой башне. Тут жил сторож и сова. Я решила не доверяться ни тому, ни другой – особенно ей! Она похожа на кошку и очень ошибается, полагая, что мышей следует есть! Но всем свойственно ошибаться, ошиблась и я: сова оказалась почтенною, в высшей степени образованною старушкой. Она знала побольше самого сторожа, столько же, сколько я! Совята привязывались к каждому слову, к каждой вещи, заводили споры и разговоры. «Полно вам

стряпать суп из колбасной палочки!» говорила им мать, – строже этого она уж выразиться не могла, – она была такую любящею мамашей. Я почувствовала к ней доверие и пискнула из щели, где сидела. Доверие это её тронуло, и она пообещала мне своё покровительство: ни один зверь не смел теперь меня съесть, это сова брала на себя – зимою, когда кормы будут плохие.

Умница она была большая! Она доказала мне, что сторож не мог завывать без помощи рога, который всегда висел у него через плечо. «А он-то чванится, воображает себя совою в башне! Высоко залетает, да низко садится! Суп из колбасной палочки и больше ничего!» добавила сова.

Я сейчас же попросила у неё рецепт этого супа, и вот что она сказала мне:

– Суп из колбасной палочки – только поговорка людская, её понимают на разные лады, и всякий думает, что он-то как раз понимает её вернее всех. В сущности же суп из колбасной палочки – один пуф!<sup>[1]</sup>

– Пуф! – сказала я. Я была поражена. Истина не всегда бывает приятной, но всё-таки она выше всего! То же сказала и старуха-сова. Я обдумала дело и поняла, что если я принесу домой самое высшее, я принесу побольше, чем суп из колбасной палочки. И я заспешила изо всех сил, чтобы успеть вовремя принести домой самое высшее и лучшее – истину. Мыши – народ просвещённый, мышиный царь стоит во главе его и способен сделать меня царицей во имя истины!

– Твоя истина – ложь! – сказала третья мышь, которой ещё не дали говорить. – Я могу сварить суп из колбасной палочки и сварю!

## **5. Как был сварен суп**

– Я не рыскала по белу свету! – продолжала третья мышь. – Я оставалась дома, оно и вернее. Нечего ездить за границу, – всему не хуже можно выучиться и здесь! Я осталась, и то, что я знаю теперь, я узнала не от сверхъестественных существ, не выгрызла из книг, не выпытала от сов; нет, я дошла до всего собственным умом. Прикажите поставить котёл на плиту!.. Теперь

налейте воды! Полнее, до самых краёв!.. Разведите огонь!.. Пусть вода закипит ключом!.. Теперь палочку в воду! А затем не угодно ли мышинному царю опустить в кипяток свой хвост и помешивать им суп! Чем дольше будет царь мешать суп, тем крепче выйдет навар. Затрат никаких, приправ тоже, только – мешать и мешать!

– Нельзя ли мешать кому-нибудь другому? – спросил мышиный царь.

– Нет! – ответила мышь. – Вся сила в хвосте мышиного царя! Вода закипела, мышиный царь примостился поближе – небезопасно таки было! – и вытянул хвост, словно собирался снять им устой со сливок и потом облизать его, как это часто делают в молочных ловкие мышки. Но едва он сунул хвост в горячий пар – подпрыгнул и соскочил на пол.

– Разумеется, ты будешь моею царицей! – вскричал он. – Суп же погодим варить до нашей золотой свадьбы, – бедным, по крайней мере, будет чего ожидать, чему радоваться, да ещё как долго!

И вот, сыграли свадьбу. Но некоторые из мышей, вернувшись домой, сказали:

– Какой же это суп из колбасной палочки? Это скорее суп из мышиного хвоста!

Кое-что из рассказанного они одобряли, но в общем всё могло, по их мнению, быть иначе!

– Я бы рассказала это вот так-то и так-то! – рассуждала каждая.

Это была уж критика, а критика всегда, ведь, бывает так умна – задним числом.

История эта обошла весь свет; мнения о ней разделились, но сама она уцелела, а это самое главное и в больших, и в малых вещах, даже в супе из колбасной палочки; не надо только ожидать за него благодарности!

---

<sup>[1]</sup> Майское дерево – украшенное дерево или высокий столб, который по традиции устанавливается ежегодно к первому мая.

[<sup>2</sup>] Пуф – здесь, ложное известие, нелепая выдумка, надувательство.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

---

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена . Бутылочное горлышко



В узком, кривом переулке, в ряду других жалких домишек, стоял узенький, высокий дом, наполовину каменный, наполовину деревянный, готовый расползтись со всех концов. Жили в нем бедные люди; особенно бедная, убогая обстановка была в каморке, ютившейся под самую крышей. За окном каморки висела старая клетка, в которой не было даже настоящего стаканчика с водой: его заменяло бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла

старая девушка и угощала коноплянку свежим мокричником, а птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой.

«Тебе хорошо петь!» – сказало бутылочное горлышко, конечно не так, как мы говорим, – бутылочное горлышко не может говорить – оно только подумало, сказало это про себя, как иногда мысленно говорят сами с собою люди. «Да, тебе хорошо петь! У тебя небось все кости целы! А вот попробовала бы ты лишиться, как я, всего туловища, остаться с одной шеей да ртом, к тому же заткнутым пробкой, небось не запела бы! Впрочем, и то хорошо, что хоть кто-нибудь может веселиться! Мне не с чего веселиться и петь, да я и не могу нынче петь! А в былые времена, когда я была еще целою бутылкой, и я запеваала, если по мне водили мокрую пробкой. Меня даже звали когда-то жаворонком, большим жаворонком! Я бывала и в лесу! Как же, меня брали с собою в день помолвки скорняковой дочки. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера! Много я пережила, как подумаю, прешла через огонь и воду, побывала и под землю и в поднебесье, не то что другие! А теперь я опять парю в воздухе и греюсь на солнышке! Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, да и не могу».

И горлышко рассказало ее самому себе, вернее, продумало ее про себя. История и в самом деле была довольно замечательная, а коноплянка в это время знай себе распевала в клетке. Внизу, по улице шли и ехали люди, каждый думал свое или совсем ни о чем не думал, – зато думало бутылочное горлышко!

Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе, где в бутылку вдунули жизнь, помнило, как горяча была молодая бутылка, как она смотрела в бурлящую плавильную печь – место своего рождения, – чувствуя пламенное желание броситься туда обратно. Но мало-помалу она остыла и вполне примирилась с своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Их был тут целый полк! Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница! Впоследствии случается, конечно, что и пивная бутылка наполняется драгоценным *lacrimae Christi*, а шампанская – ваксою, но все же природное назначение каждой

сразу выдается ее фасоном, – благородная останется благородной даже с ваксой внутри!

Все бутылки были упакованы; наша бутылка тоже; тогда она и не предполагала еще, что кончит в виде бутылочного горлышка в должности стаканчика для птички, – должности, впрочем, в сущности, довольно почтенной: лучше быть хоть чем-нибудь, нежели ничем! Белый свет бутылка увидела только в ренсковом погребе; там ее и других ее товарок распаковали и выполоскали – вот странное было ощущение! Бутылка лежала пустая, без пробки, и ощущала в желудке какую-то пустоту, ей как будто чего-то недоставало, а чего – она и сама не знала. Но вот ее налили чудесным вином, закупорили и запечатали сургучом, а сбоку наклеили ярлычок: «Первый сорт». Бутылка как будто получила высшую отметку на экзамене; но вино и в самом деле было хорошее, бутылка тоже. В молодости все мы поэты, вот и в нашей бутылке что-то так и играло и пело о таких вещах, о которых сама она и понятия не имела: о зеленых, освещенных солнцем горах с виноградниками по склонам, о веселых девушках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут... Да, жизнь так хороша! Вот что бродило и пело в бутылке, как в душе молодых поэтов, – они тоже зачастую сами не знают, о чем поют.

Однажды утром бутылку купили, – в погреб явился мальчик от скорняка и потребовал бутылку вина самого первого сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая; черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка, такая же выразительная, как и глазки. Ручки у нее были тонкие, мягкие, белые-пребелые, но грудь и шейка еще белее. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе и – представьте – еще не была просватана!

Вся семья отправлялась в лес; корзинку с припасами девушка везла на коленях; бутылочное горлышко высывалось из-под белой скатерти, которую была накрыта корзина. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа-живописца, товарища детских

игр красоти, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле в чужие страны. Об этом много толковали во время сборов в лес, и в эти минуты во взоре и в выражении личика хорошенькой дочки скорняка не замечалось особенной радости.

Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Да, вот этого бутылка не слыхала: она ведь оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но наконец ее вытащили, и она сразу увидела, что дела успели за это время принять самый веселый оборот: глаза у всех так и смеялись, дочка скорняка улыбалась, но говорила как-то меньше прежнего, щечки же ее так и цвели розами.

Отец взял бутылку с вином и штопор... А странное ощущение испытываешь, когда тебя откупоривают в первый раз! Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку из нее точно вышибло и у нее вырвался глубокий вздох облегчения, а вино забулькало в стаканы: клю-клю-клюд!

– За здоровье жениха и невесты! – сказал отец, и все опорожнили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красотку невесту.

– Дай бог вам счастья! – прибавили старики. Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул:

– За мое возвращение домой и нашу свадьбу ровно через год! – И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух: – Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!

Дочке скорняка и в голову тогда не приходило, что она опять увидит когда-нибудь ту же бутылку высоко-высоко в воздухе, а пришлось-таки.

Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Бутылочное горлышко живо еще помнило, как она лежала там и размышляла: «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотной водой, но, конечно, от доброго сердца!» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник, увидели бутылку и взяли ее, – теперь она была

пристроена.

Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу. Вчера старший брат их, матрос, приходил к ним прощаться – он уезжал в дальнее плавание; и вот мать возилась теперь, укладывая в его сундук то то, то другое, нужное ему в дорогу. Вечером отец сам хотел отнести сундук в город, чтобы еще раз проститься с сыном и передать ему благословение матери. В сундук была уложена и маленькая бутылочка с настойкой. Вдруг явились мальчишки с большой бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хорошая и даже целебная – полезная для желудка. Итак, бутылку наполнили уже не красным вином, а горькою настойкой, но и это хорошо – для желудка. В сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка, которая, таким образом, отправилась в плавание вместе с Петером Иенсенем, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Но молодой штурман не увидел бутылки, да если бы и увидел – не узнал бы; ему бы и в голову не пришло, что это та самая, из которой они пили в лесу за его помолвку и счастливое возвращение домой.

Правда, в бутылке больше было не вино, но кое-что не хуже, и Петер Иенсен частенько вынимал свою «аптеку», как величали бутылку его товарищи, и наливал им лекарства, которое так хорошо действовало на желудок. И лекарство сохраняло свое целебное свойство вплоть до последней своей капли. Веселое то было времечко! Бутылка даже пела, когда по ней водили пробкой, и за это ее прозвали «большим жаворонком» или «жаворонком Петера Иенсена».

Прошло много времени; бутылка давно стояла в углу пустою; вдруг стряслась беда. Случилось ли несчастье еще на пути в чужие края, или уже на обратном пути – бутылка не знала – она ведь ни разу не сходила на берег. Разразилась буря; огромные черные волны бросали корабль, как мячик, мачта сломалась, образовалась пробоина и течь, помпы перестали действовать. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти-то последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи помилуй! Мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты,

свое имя и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный, предсмертный привет.

Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже, а бутылка понеслась по морю, как птица: она несла ведь сердечный привет жениха невесте! Солнышко вставало и садилось, напоминая бутылке раскаленную печь, в которой она родилась и в которую ей так хотелось тогда кинуться обратно. Испытала она и штиль и новые бури, но не разбилась о скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам туда и сюда; правда, она была в это время сама себе госпожой, но и это ведь может надоесть.

Исписанный клочок бумаги, последнее прощание жениха невесте, принес бы с собой одно горе, попади он в руки той, кому был адресован. Но где же были те беленькие ручки, что расстлали белую скатерть на свежей травке в зеленом лесу в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была самая родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, так что под конец даже соскучилась. Носиться по волнам было вовсе не ее дело, и все-таки она носилась, пока наконец не приплыла к берегу чужой земли. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее: говорили на каком-то чужом, незнакомом ей языке, а не на том, к которому она привыкла на родине; не понимать же языка, на котором говорят вокруг, – большая потеря!

Бутылку поймали, осмотрели, увидели и вынули записку, вертели ее и так и сяк, но разобрать не разобрали, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в записке. Но что именно? Да, вот в том-то вся и штука! Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф, что стоял в большой горнице большого дома.

Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы,

написанные карандашом, мало-помалу стирались и под конец совсем стерлись, – никто бы и не сказал теперь, что на этом клочке было когда-то что-либо написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год, потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиной. Стоя там, она вспоминала лучшие дни, когда из нее наливали красное вино в зеленом лесу, когда она качалась на морских волнах, нося в себе тайну, письмо, последнее прости!..

На чердаке она простояла целых двадцать лет; простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Крышу сняли, увидели бутылку и заговорили что-то, но она по-прежнему не понимала ни слова – языку ведь не выучишься, стоя на чердаке, стой там хоть двадцать лет! «Вот если бы я оставалась внизу, в комнате, – справедливо рассуждала бутылка, – я бы, наверное, выучилась!».

Бутылку вымыли и выполоскали, – она в этом очень нуждалась. И вот она вся прояснилась, просветлела, словно помолодела вновь; зато записку, которую она носила в себе, выплеснули из нее вместе с водой.

Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами; заткнули пробкой и так старательно упаковали, что ей не стало видно даже света божьего, не то что солнца или месяца. «А ведь надо же что-нибудь видеть, когда путешествуешь», – думала бутылка, но так-таки ничего и не увидела. Главное дело было, однако, сделано: она отправилась в путь и прибыла куда следовало. Тут ее распаковали.

– Вот уж постарались-то они там, за границей! Ишь, как упаковали, и все-таки она, пожалуй, треснула! – услышала бутылка, но оказалось, что она не треснула.

Бутылка понимала каждое слово; говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле, словом – на единственном, настоящем, понятном и хорошем родном языке! Она опять очутилась дома, на родине! От радости она чуть было не выпрыгнула из рук и едва обратила внимание на то, что ее откупорили, опорожнили, а потом поставили в подвал, где и позабыли. Но дома хорошо и в подвале. Ей и в голову не

приходило считать, сколько времени ока тут простояла, а ведь простояла она больше года! Но вот опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу.

Сад был великолепно разукрашен; над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных огней, бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна; виден был, впрочем, не только золотой, серповидный краешек ее, но и весь серо-голубой круг, – виден, конечно, только тому, у кого были хорошие глаза. В боковых аллеях тоже была устроена иллюминация, хоть и не такая блестящая, как в главных, но вполне достаточная, чтобы люди не спотыкались впотьмах. Здесь, между кустами, были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами; здесь-то находилась и наша бутылка, которой суждено было в конце концов послужить стаканчиком для птички. Бутылка была в востроге; она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор толпы, особенно густой там, где качались гирлянды разноцветных лампочек и отливали яркими красками бумажные фонари. Сама бутылка, правда, стояла в боковой аллее, но тут-то и можно было помечтать; она держала свечу – служила и для красоты и для пользы, а в этом-то вся и суть. В такие минуты забудешь даже двадцать лет, проведенных на чердаке, – чего же лучше!

Мимо бутылки прошла под руку парочка, ну, точь-в-точь, как та парочка в лесу – штурман с дочкой скорняка; бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние, которым позволено было любоваться гостями и красивым зрелищем; в числе их находилась и старая девушка, у нее не было родных, но были друзья. Думала она о том же, о чем и бутылка; ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, – ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была тою счастливою невестой! Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь, даже став старую девой! Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее. Так случается на свете сплошь да рядом: старые

знакомые встречаются и расходятся, не узнав друг друга, до новой встречи.

И бутылку ждала новая встреча со старою знакомою, – они ведь находились теперь в одном и том же городе!

Из сада бутылка попала к виноторговцу, опять была наполнена вином и продана воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики, играл духовой оркестр; шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка кролик был совсем растерян, – он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте! Бутылка же и не знала, куда они полетят – вверх или вниз; она видела только, что шар надувался все больше и больше, потом приподнялся с земли и стал порываться ввысь, но веревки все еще крепко держали его. Наконец их перерезали, и шар взвился в воздух вместе с воздухоплавателем, корзиною, бутылкою и кроликом. Музыка гремела, и народ кричал «ура».

«А как-то странно лететь по воздуху! – подумала бутылка. – Вот новый способ плавания! Тут по крайней мере не наткнешься на камень!»

Многотысячная толпа смотрела на шар; смотрела из своего открытого окна и старая девушка; за окном висела клетка с коноплянкой, обходившейся еще, вместо стаканчика, чайною чашкой. На подоконнике стояло миртовое деревцо; старая девушка отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила в небе шар и воздухоплавателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и подбросил бутылку вверх. Девушке и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених в зеленом лесу в счастливейший день ее жизни!

У бутылки же и времени не было ни о чем подумать, – она так неожиданно очутилась в зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там, внизу, люди казались такими крохотными!..

И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик; она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такою

молодую, такую жизнерадостную, вино в ней так и играло, но недолго – вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках, все люди смотрели только на нее, – шар уже скрылся; скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились – прыгали и скакали по крыше, пока не очутились во дворе и не разбились о камни на еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко; его словно срезало алмазом!

– Вот славный стаканчик для птицы! – сказал хозяин погребка, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться ими только потому, что попало ему бутылочное горлышко, годное для стаканчика, было бы уж чересчур! А вот старой девушке, что жила на чердаке, оно могло пригодиться, и бутылочное горлышко попало к ней; его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз – такие перемены часто случаются на свете, – налили в него свежей воды и подвесили к клетке, в которой так и заливалась коноплянка.

– Да, тебе хорошо петь! – сказала бутылочное горлышко, а оно было замечательное – оно летало на воздушном шаре! Остальные обстоятельства его жизни не были известны никому. Теперь оно служило стаканчиком для птицы, качалось в воздухе вместе с клеткой, до него доносились с улицы грохот экипажей и говор толпы, из каморки же – голос старой девушки. К ней пришла в гости ее старая приятельница-ровесница, и разговор шел не о бутылочном горлышке, но о миртовом деревце, что стояло на окне.

– Право, тебе незачем тратить двух риксдалеров на свадебный венок для дочки! – говорила старая девушка. – Возьми мою мирту! Видишь, какая чудесная, вся в цветах! Она выросла из отростка той мирты, что ты подарила мне на другой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венок ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась! Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь! На дне морском спит мой милый жених!.. Мирта состарилась, а я еще больше! Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу: мы сошьем из ее ветвей свадебный

венки для твоей дочери!

На глазах у старой девушки навернулись слезы; она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост за их здоровье, подумала о первом поцелуе... но не упомянула о нем, — она была ведь уже старою девицею! О многом вспоминала и думала она, только не о том, что за окном, так близко от нее находится еще одно напоминание о том времени — горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко не узнало старой знакомой, отчасти потому, что оно и не слушало, что она рассказывала, а главным образом потому, что думало только о себе.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

---

## **Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Колокольный омут (Колокольная бездна)**



Бом-бом! – раздается звон из колокольного омута реки Оденсе. «Это что за река?» Ее знает любой ребенок в городе Оденсе; она огибает сады и пробегает под деревянными мостами, стремясь из шлюзов к водяной мельнице. В реке плавают желтые кувшинки, колышутся темно-коричневые султанчики тростника и высокая бархатная осока. Старые, дуплистые, кривобокие, скорчившиеся ивы, растущие возле монастырского болота и луга белильщика, нависают над водою. По другому берегу тянутся сады. И все они разные. В одних растут чудесные цветы, красуются чистенькие, словно игрушечные, беседки, в других виднеется одна капуста, а иных так и самих не видно: густые, раскидистые кусты бузины теснятся к самой реке, которая местами так глубока, что веслом и не достать до дна. Самое глубокое место – против Девичьего монастыря; зовется оно колокольным омутом, и в бездне этой живет водяной. Весь день, пока солнечные лучи проникают в воду, он спит, а ночью, при свете месяца и звезд, всплывает на поверхность. Он очень стар. Еще бабушка моя слышала от своей бабушки, что он живет один-одинешенек и нет у него другого собеседника, кроме огромного старого церковного колокола. Когда-то колокол этот висел на колокольне церкви Санкт-Альбани; теперь ни от колокольни, ни от церкви не осталось и следа.

Бом-бом-бом! – звонил колокол, когда еще висел на колокольне, и раз вечером, на закате солнца, раскачался хорошенько,

сорвался и полетел... Блестящая медь так и засверкала пурпуром в лучах заходящего солнца.

«Бом-бом! Иду спать!» – зазвонил колокол и полетел прямо в реку Оденсе, в самое глубокое место, которое и прозвали с тех пор колокольным омутом. Но не удалось колоколу уснуть, успокоиться: он звонит в жилище водяного так, что слышно иной раз и на берегу. Люди говорят, что звон его предвещает чью-нибудь смерть, но это неправда. Колокол звонит, беседуя с водяным, и тот теперь уже не так одинок, как прежде.

О чем звонит колокол? Колокол очень стар; говорят, что он звонил на колокольне еще раньше, чем родилась бабушкина бабушка, и все-таки он ребенок в сравнении с самим водяным, диковинным стариком, в штанах из угриной кожи и чешуйчатой куртке с желтыми кувшинками вместо пуговиц, в волосах у него тростник, борода покрыта зеленою тиной, а это не слишком красиво!

Чтобы пересказать все, о чем звонит колокол, понадобились бы целые годы. Он звонит о том, о сем, повторяет одно и то же не раз и не два, иногда пространно, иногда вкратце – как ему вздумается. Он звонит о старых, мрачных, суровых временах...

«На колокольню церкви Санкт-Альбани взбирался монах, молодой, красивый, но задумчивый, задумчивее всех... Он смотрел в слуховое оконце на реку Оденсе, русло которой было тогда куда шире, на болото, бывшее тогда озерцом, и на зеленый Монастырский холм. Там возвышался Девичий монастырь; в келье одной монахини светился огонек... Он знал ее когда-то!.. И сердце его билось сильнее при воспоминании о ней!.. Бом-бом!»  
Так вот о чем звонит колокол.

«Подымался на колокольню и слабоумный послушник настоятеля. Я мог бы разбить ему лоб своим тяжелым медным краем: он сидел как раз подо мною, да еще в то время, когда я раскачивался и звонил. Бедняк колотил двумя палочками по полу, словно играл на цитре, и пел: «Теперь я могу петь громко о том, о чем не смею и шептать, петь обо всем, что скрыто за тридевятью замками!.. Холодно, сыро!.. Крысы пожирают их заживо!.. Никто не знает о том, никто не слышит – даже теперь, – колокол гудит: бом-бом!»

«Жил-был король, звали его Кнудом. Он низко кланялся и епископам и монахам, но, когда стал теснить ютландцев тяжелыми поборами, они взялись за оружие и прогнали его, как дикого зверя. Он укрылся в церкви, запер ворота и двери. Разъяренная толпа обложила церковь; я слышал ее рев; вороны и галки совсем перепугались и в смятении то взлетали на колокольню, то улетали прочь, тарасились на толпу, заглядывали в окна церкви и громко вопили о том, что видели. Король Кнуд лежал распостертый перед алтарем и молился; братья его, Эрик и Бенедикт, стояли возле него с обнаженными мечами, готовясь защищать короля; но вероломный слуга Блаке предал своего господина.

Толпа узнала, где находится король, и в окно был пущен камень, убивший его на месте... То-то ревела и выла дикая толпа, птицы кричали, а я гудел, а я пел: бом-бом-бом!»

Церковный колокол висит высоко, видит далеко! Его навещают птицы, и он понимает их язык! Посещает его и ветер, врываясь в слуховые окна, во все отверстия и щели, а ветер знает обо всем от воздуха, – воздух же есть всюду, где есть жизнь, проникает даже в легкие человека и воспринимает каждый звук, каждое слово, каждый вздох!.. Воздух знает обо всем, ветер рассказывает, колокол внимает ему и звонит на весь мир: бом-бом-бом!..

«Но уж слишком много приходилось мне слушать и узнавать, сил не хватало звонить обо всем! Я устал, отяжелел, и балка обломилась, а я полетел по сияющему воздуху прямо в глубину реки, где живет водяной! Он одинок, и вот я рассказываю ему из года в год о том, что слышал и видел: бом-бом-бом!»

Так вот какой звон раздается из колокольного омута реки Оденсе, – я слышал об этом от бабушки.

А школьный учитель наш говорит: «Какой там может звонить колокол? Никакого там нет колокола! Нет а водяного – водяных совсем нет!» Когда же слышится веселый звон церковных колоколов, он говорит, что это звучат, собственно, не колокола, а воздух; воздух производит звук.

То же ведь говорила и бабушка со слов церковного колокола; в этом учитель сошелся с нею, значит, это так и есть.

«Гляди в оба и на себя оглядывайся!» – говорят и бабушка и учитель.

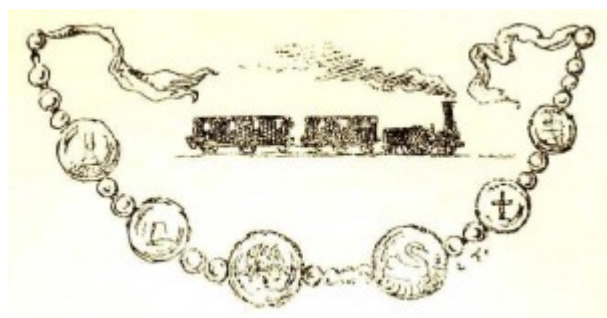
Да, воздух знает обо всем! Он и вокруг нас и в нас, он оглашает все наши мысли, все наши деяния и будет разносить их куда дальше, чем колокол, что лежит в глуби реки у водяного. Воздух разглашает все в небесной глуби, и звуки уносятся выше, дальше, бесконечно далеко, пока не дойдут до небесных колоколов и те, в свою очередь, не зазвонят: бом-бом-бом!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Обрывок жемчужной нити



Железная дорога проведена у нас в Дании пока только от Копенгагена до Корсёра<sup>[1]</sup>; дорога эта – настоящий обрывок жемчужной нити, каких в Европе множество. Драгоценнейшими жемчужинами, нанизанными на них, являются: Париж, Лондон, Вена, Неаполь..! Многие укажут, впрочем, не на эти большие города, а на какой-нибудь незначительный городок, где родились и где живут милые их сердцу; в глазах иных жемчужиною является одинокий двор, маленький домик, приютившийся в зелени; миг – и

он промелькнул перед глазами путешественника, смотрящего из окна вагона.

Много ли жемчужин нанизано на нить, что протянута от Копенгагена до Корсёра? Можно указать на шесть, на которые редко кто не обратит внимания; старые песни и поэзия придали этим жемчужинам такой блеск, что они вечно сияют в нашей памяти.

Вот, близ холма, где возвышается дворец Фредерика IV, где стоит отчий дом Эленшлегера<sup>[2]</sup>, блестит на лесной поляне в Сёндермаркене одна из этих жемчужин; прозвали её «Хижинкой Филемона и Бавкиды», т. е., хижинкой любящей супружеской четы.

Здесь жил когда-то Рабек<sup>[3]</sup> со своею женой Каммой. Под их гостеприимною кровлей собирались в течение полувека представители умственных сфер шумной столицы – Копенгагена; в те времена здесь был приют ума, а теперь..! Но не говорите «как изменчивы времена!» Здесь и теперь «приют ума», теплица для больных растений! Бутоны, что не в силах распуститься, всё-таки скрывают в себе ростки, лепестки и семена. Солнце ума светит в этот мирный приют, оживляет растения, пробуждает к жизни зародыши. Впечатления окружающего мира, воспринимаемые тёмною душою, отражаются в глазах. «Приют слабоумных», воздвигнутый человеколюбием – священное место, теплица для больных растений, которые должны быть некогда пересажены и расцвести в саду Божиим. Слабоумные собраны ныне здесь, где когда-то встречались гиганты ума, встречались, обменивались мыслями и возносились душою туда, туда..! Туда же стремится душевное пламя из «Хижинки Филемона и Бавкиды» и поныне.

Город, где почивают короли, где журчит источник Роара, старый Роскильде лежит перед нами! Стройные, остроконечные башни собора возвышаются над маленьким городком и отражаются в Исефиорде. Отыщем же здесь одну могилу – блестящую жемчужину. Это не будет могила могущественной королевы Маргариты-Объединительницы, нет, мы отыщем на кладбище, мимо белых стен которого мчится поезд, скромную надгробную плиту; под нею почивает царь органистов, обновитель датского романса. Благодаря ему, старые предания звучат для нас родными, близкими сердцу

мелодиями, мы чувствуем, где «катятся прозрачные волны», где «жил-был в Лейре король!»<sup>[4]</sup> Роскильде, город, где почивают короли, твоею жемчужиной является скромная могила; на плите, покрывающей её, высечена лира и имя: Вейзе.

Теперь мы у местечка Сигерстед близ города Рингстеда; река обмелела, и жёлтая рожь растёт там, где приставала некогда лодка Гагбарта к терему Сигне. Кто не знает сказания о Гагбарте, висевшем на дубу, и о Сигне, сгоревшей в терему, о их пламенной любви?..

«Чудный Сорё, в венке из лесов!» Монастырски-тихий городок выглядывает из-за обросших мхом деревьев. Юношеским взором смотрит он из окон Академии на озеро, на мировую дорогу и прислушивается к пытению паровоза, пролетающего через лес. Сорё, жемчужина поэзии, хранящая прах Гольберга! словно могучий белый лебедь покоится над глубоким озером в чаще леса «Дворец Науки», а вблизи его взор наш отыскивает блестящий, как беленький полевой цветочек, скромный домик. Оттуда разносятся по всей стране благочестивые псалмы; к раздающемуся оттуда слову прислушивается даже крестьянин и узнаёт из него о давно минувших временах и судьбах Дании. Зелёный лес и пение птиц, Сорё и Ингеманн<sup>[5]</sup> – одинаково нераздельные понятия.

Теперь в город Слагельсе! Какая жемчужина блестит здесь? Исчез Антворсковский монастырь, исчезли роскошные дворцовые покои, даже покинутый, одинокий флигель. Сохранился лишь один памятник старины, – его подновляли не раз – деревянный крест на холме, где, по преданию, пробудился перенесённый сюда из Иерусалима в одну ночь священник, Св. Андерс.

Корсёр! Здесь родился ты, Кнуд Зеландский дядюшка<sup>[6]</sup>, мастер слова, виртуоз остроумия! О месте, где находился твой отчий дом, свидетельствуют ныне одни обвалившиеся старые валы. На заходе солнца от них падает тень как раз на то местечко, где стоял он. С этих валов смотрел ты, «когда был ребёнком», и воспевал в бессмертных стихах «месяц, что скользит над островом», как воспел впоследствии и горы Швейцарии! Да, тут жил ты, исходивший мировой лабиринт и нашедший, что

«Нигде, нигде так ярко не алеют розы,  
Нигде не сыщем мельче мы шипов,  
Нигде нас не баюкают так сладко грёзы,  
Как там, где наш родной, наш отчий кров!»

Певец остроумия! Мы сплетём тебе венок из дикого яминника, бросим его в море, и волны отнесут его в Кильский залив, на берегу которого покоится твой прах. Венок принесёт тебе привет от молодого поколения, поклон от родного города Корсёра, где обрывается жемчужная нить.

– Да, это и впрямь обрывок жемчужной нити! – сказала бабушка, выслушав то, что мы ей прочли. – Дорога от Копенгагена до Корсёра, по-моему, настоящая жемчужная нить; так я стала смотреть на неё ещё сорок слишком лет тому назад. Тогда железных дорог у нас ещё не водилось, и приходилось ехать дни, тогда как теперь нужны только часы. Было это в 1815 г.; мне тогда шёл двадцать второй год; славный возраст! Впрочем, и шестьдесят лет – славный, благословенный возраст! В те времена поездка в Копенгаген, город городов, как мы называли его, была редким событием, не то, что теперь. Мои родители собрались повторить такую поездку только через двадцать лет и решили и меня взять с собою; о поездке этой мы толковали много лет и, наконец, она должна была состояться. Мне казалось, что теперь для меня начнётся новая жизнь; да так оно отчасти и вышло.

Пошло шитьё, упаковка; когда же настало время отъезда, сколько добрых друзей понашло к нам пожелать счастливого пути! Нам предстояло, ведь, большое путешествие! Поутру мы выехали из Одензе в собственном старомодном возке; из окон высовывались и кланялись знакомые; поклоны и пожелания провожали нас по всей улице, пока мы не выехали из ворот Св. Юргена. Погода стояла чудная, птицы пели, всё было так хорошо, что забывалось, какая предстоит нам долгая, утомительная дорога до Ньюборга; к вечеру, однако, мы благополучно добрались до него. Почта приходила туда только ночью, а раньше не отправлялся и корабль, на который мы сели. Перед нами лежала огромная водяная равнина – глазом не окинуть! Мы улеглись на койках, не раздеваясь, и заснули. Утром я проснулась и вышла на палубу –

не было видно ни зги, нас окружал густой туман. Я услышала крик петухов и почувствовала, что восходит солнце; зазвонили колокола; где же мы были? Туман рассеялся, и я увидела, что мы лежим себе прямёхонько против... Ньюборга. Днём, наконец, подул ветер, но как раз навстречу нам. Мы лавировали, лавировали, и часам этак к двенадцати ночи добрались таки до Корсёра. Таким образом, мы в двадцать два часа сделали четыре мили.

То-то приятно было выйти на берег!.. Но в городе царствовала темнота; фонари горели прескверно, всё казалось мне тут таким чужим, диким, – я, ведь, ни разу ещё не бывала ни в каком другом городе, кроме своего родного Одензе.

«Вот тут родился Баггесен!» сказал мне отец. «Тут же жил и Биркнер!»<sup>[7]</sup>.

И старый город с маленькими домами сразу показался мне как-то светлее и больше. К тому же мы так радовались, что у нас, наконец, под ногами твёрдая почва. Но заснуть в эту ночь я так и не могла от наплыва массы новых впечатлений. И подумать, что мы выехали из дома всего третьего дня! На следующее утро пришлось подняться рано; нам предстояла ужасная дорога по холмам, по рытвинам, до самого Слагельсе, да и за ним, говорили нам, пойдёт не лучше, а нам хотелось вовремя прибыть в гостиницу «Рака», чтобы успеть в тот же день побывать в Сорё и навестить «мельникова Эмиля», как мы его звали. Это и был ваш дедушка, мой покойный муж, священник. Тогда он был студентом академии в Сорё и только что сдал свой второй экзамен.

После полудня мы прибыли в гостиницу; в те времена это была лучшая гостиница на всём пути. Окрестности её были тогда удивительно живописны, да вы, конечно, скажете, что они и теперь не хуже. Расторопная хозяйка, госпожа Пламбек, держала своё заведение в безукоризненной чистоте и порядке. На стене, в рамке за стеклом, висело письмо Баггесена к ней, – на него стоило взглянуть! В моих глазах это была такая достопримечательность!.. Потом мы пошли в Сорё и разыскали Эмиля. Вот-то обрадовался он нам, а мы ему! Как он был мил, внимателен к нам! Вместе пошли мы в церковь, где находится

могила Абсалона и гробница Гольберга, осматривали старинные надписи на стенах, сделанные монахами, переправлялись через озеро на «Парнас», словом, провели чудеснейший вечер, какой только запомню! И мне право казалось, что если где-нибудь на свете можно писать стихи, так это именно в Сорё, среди его мирной, чудной природы. При свете луны мы прошли по «аллее философов», как называют прелестную уединённую дорожку вдоль озера и болота, ведущую на проезжую дорогу к гостинице. Эмиль остался у нас ужинать; отец и мать мои нашли, что он стал таким умным и похорошел. Он пообещал нам через пять дней приехать в Копенгаген к родным и навестить нас, – через пять дней наступала, ведь, Троица. Часы, проведённые нами в Сорё и в гостинице «Рака», принадлежат к прекраснейшим жемчужинам моей жизни.

На другое утро мы выехали очень рано, – нам предстояла длинная дорога, а мы должны были прибыть в Роскильде засветло, чтобы успеть осмотреть церковь; вечером же отец хотел навестить одного старого школьного товарища. Так всё и вышло; ночь мы провели в Роскильде, утром выехали и, наконец, только около полудня – тут пошла самая ужасная, избитая дорога – добрались до Копенгагена. Итак, мы почти три дня добирались от Корсёра до Копенгагена, а вам теперь нужно на это всего три часа. Жемчужины не стали от того прекраснее, это невозможно, но теперь они нанизаны на новую диковинную нить!

Мы пробыли в Копенгагене три недели; Эмиль почти не расставался с нами и потом проводил нас обратно до Корсёра; там мы обручились и расстались! Теперь вы понимаете, отчего и я называю дорогу от Копенгагена до Корсёра обрывком жемчужной нити.

Позже, когда Эмиль получил приход в Ассенсе, мы женились. Часто вспоминали мы поездку в Копенгаген и собирались повторить её, но тут явилась сначала ваша мать, потом другие её братья и сестры, хлопот и забот прибыло, а тут дедушка ваш получил повышение и стал пробстом<sup>[8]</sup>, дела шли хорошо, в семье у нас была тишь да гладь, да Божья благодать, но в Копенгаген мы так и не попали. Ни разу я больше не побывала там, хоть мы и

часто думали и говорили о поездке. Теперь же я состарилась, не  
гожусь ездить по железным дорогам. Но радоваться им радуюсь.  
Чистая благодать! Теперь вы можете быстрее приезжать ко мне!  
Теперь Одензе не дальше от Копенгагена, чем в дни моей  
молодости был от Нюборга! Вы можете теперь слетать в Италию за  
столько же времени, сколько мы употребили тогда на поездку в  
Копенгаген, вот что!.. Но я всё-таки не двигаюсь с места, –  
пусть ездят другие ко мне! Нечего вам смеяться над тем, что я  
такая сидня! Мне предстоит иное путешествие, куда более  
далёкое и скорое. Когда Господь Бог призовет меня, я  
отправлюсь к «дедушке», а когда вы совершите ваше земное дело,  
порадуетесь вдоволь на этот чудный мир, я знаю, что и вы  
придёте к нам, и мы поговорим тогда о нашей земной жизни. И  
поверьте, дети, я и тогда скажу, как теперь: «Дорога от  
Копенгагена до Корсёра – настоящая жемчужная нить!»

---

<sup>[1]</sup>Т. е. в 1859 г.

<sup>[2]</sup>Эленшлегер, Адам Готлоб – датский писатель, драматург, поэт.

<sup>[3]</sup>Рабек, Кнуд Люне – Датский писатель, критик и автор  
чувствительных и популярных застольных песен, бывший с женою  
своею Каммой душою и центром литературных кружков Дании.

<sup>[4]</sup>Первые строфы двух любимых датских песен, положенных на  
музыку композитором Вейзе.

<sup>[5]</sup>Ингеман, Бернхард Северин – Один из популярнейших датских  
поэтов и романистов.

<sup>[6]</sup>Псевдоним Баггесена

<sup>[7]</sup>Автор знаменитой в своё время статьи о свободе печати (1797  
г.).

<sup>[8]</sup>Священнический сан, соответствующий протоиерейскому.

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Еврейка



В школе для бедных, между другими детьми, сидела девочка-еврейка, добрая, развитая и самая прилежная из всех. Но в одном из уроков она не могла принимать участия – в Законе Божием: школа была, ведь, христианская.

Ей позволили в это время учить урок из географии или решать задачи, но она скоро справлялась и с уроком, и с задачами, и книжка только так лежала перед нею раскрытою, – она в неё и не заглядывала, прислушиваясь к словам учителя. Скоро тот заметил, что она следит за уроком, пожалуй, внимательнее всех остальных.

– Учи свой урок! – сказал он ей кротко и серьёзно, но она продолжала смотреть на него своими чёрными, лучистыми глазами; он задал ей несколько вопросов, и оказалось, что она поняла и усвоила себе из его уроков больше, чем кто-либо из других детей. Она слушала, понимала и слагала всё в сердце своём. Отец её, честный бедняк, отдавая дочь в школу, поставил

условием, чтобы её не учили догматам христианской веры; но отсылать её в эти часы из класса было неудобно, – это могло возбудить в других детях различные мысли и соображения – и она оставалась. Теперь же учитель понял, что так дело оставить нельзя.

Он отправился к её отцу и заявил, что тот должен или взять свою дочь из школы, или позволить ей принять христианство.

– Я не могу равнодушно видеть её горящего взора, в котором так и светится вся её душа, жаждущая света истины Христовой! – добавил учитель.

Отец заплакал:

– Сам я мало сведущ в законе отцов моих, но мать её была истинною дочерью Израиля, крепко держала свою веру и взяла с меня на смертном одре слово – никогда не позволять нашей дочери креститься. Я должен сдержать своё обещание; оно для меня священно, как обет, данный Богу!

И девочку взяли из христианской школы.

Прошло много лет. В одном из маленьких городков в Ютландии служила в семействе небогатого горожанина бедная девушка-еврейка. Это была Сара. Волосы её были чёрны, как эбеновое дерево, тёмные глаза сияли огнём, как у дочерей Востока. Но выражение их ничуть не изменилось со времени её детства, когда она ещё сидела на школьной скамейке и внимала словам учителя.

По воскресеньям в церкви звучал орган и раздавалось пение псалмов; торжественные звуки доносились через улицу и до соседнего домика, где прилежно и неутомимо занималась своим делом еврейка. Заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его!» – была для неё законом, но суббота была у христиан рабочим днём, и девушка могла праздновать её лишь в сердце своём, а этого, ей казалось, мало. Но что значат для Бога дни и часы? Мысль эта пробудилась в её душе, и девушка стала праздновать субботу в христианское воскресенье. И когда звуки органа и пение псалмов доносились до её уголка в кухне, даже и это место проникалось святою тишиною храма. Сара читала в это время Ветхий Завет, сокровище и собственность её народа; только его она и могла читать: слова её отца, сказанные учителю, обещание, данное им её умирающей матери, глубоко

залегли в душу Сары, – она не должна принимать христианства, не должна отречься от веры отцов своих, и Новый Завет должен оставаться для неё закрытой книгой! Но она уже так много знала из него, знания эти хранились в душе её вместе с воспоминаниями детства.

Раз вечером она сидела в углу комнаты и слушала, как хозяин читал вслух. Она могла слушать, – читали не Евангелие, а старую хронику. Из неё прочитано было об одном венгерском рыцаре, попавшем в плен к турецкому паше.<sup>[1]</sup> Турок велел впрячь христианина вместе с волами в плуг, погонять кнутом, словом, надругался над ним и терзал его всячески! Жена рыцаря продала все свои драгоценности, заложила замок и земли, друзья его также сложились, и, наконец, составила нужная сумма, – паша требовал за рыцаря невероятно-огромный выкуп. Деньги были доставлены, и рыцарь освобожден из тяжёлого рабства. Больной, страждущий, прибыл он домой. Но скоро опять кликнули клич против врагов христианства, и – рыцарь забыл всякий покой и отдых, велел оседлать своего боевого коня. Щёки его опять окрасились румянцем, силы вернулись, и он помчался разить врагов. И вот, тот самый паша, что держал его в плену, запрягал в плуг, мучил и терзал, стал теперь его пленником. Пашу отвели в темницу, но не прошло и часа, как к нему явился сам рыцарь и спросил его:

– Как ты думаешь, что ожидает тебя?

– Возмездие! – отвечал турок.

– Да, но возмездие христианское! – сказал рыцарь. – Закон Христа запрещает воздавать за зло злом, велит прощать врагам нашим и любить ближнего! Бог есть любовь! Ступай с миром в дом свой и будь добр и милостив к страждущим!

Пленник залился слезами:

– Мог ли я ожидать этого? Напротив, я знал, что меня ожидают муки и терзания, и принял яд. Он скоро убьёт меня, я умру, спасения нет! Но не дай мне умереть, не познав учения, которое вмещает в себе такую любовь и милосердие! Оно велико и божественно! Дай мне умереть христианином!

И мольба его была исполнена.

Вот какую историческую легенду прочёл хозяин; все слушали внимательно, но живее, пламеннее всех внимала чтению сидевшая в углу служанка Сара, еврейка. Крупные слёзы сверкали в её блестящих, чёрных, как уголь, глазах. Она сохранила ту же детскую душу, которая так жадно стремилась когда-то познать учение Евангелия. Слёзы текли по её лицу.

«Не позволяй нашей дочери стать христианкой!» были последние слова её матери на смертном одре, и она хранила их в сердце своём вместе со словами заповеди Божией: «Чти отца твоего и мать твою!»

«Меня, ведь, и не крестили!» говорила она себе. «Все зовут меня еврейкою! Ещё в воскресенье соседние мальчишки дразнили меня, когда я остановилась у открытой церковной двери и заглянула туда, где горели свечи и пел народ. Но со времени детства и до сих пор христианство неодолимо влечёт меня к себе; оно, словно солнечный свет, проникает в моё сердце, даже когда я нарочно закрываю глаза. Но я не огорчу тебя в могиле, матушка. Я не изменю обету, который дал тебе отец! Я не стану читать христианской Библии, – у меня есть своё прибежище – Бог отцов моих!»

Прошли ещё года.

Хозяин Сары умер, хозяйка впала в бедность, служанку надо было отпустить, но Сара не отошла. Она стала поддержкой вдовы в нужде, работала с утра до поздней ночи и кормила её трудами рук своих. У вдовы не было никого из близких родственников, кто бы помогал ей, а она, между тем, слабела день ото дня и по целым месяцам лежала в постели. Кроткая, благочестивая Сара была для неё в это время истым благословением Божиим; она бодрствовала по ночам и ухаживала за больной.

– Вон там Библия! – сказала однажды больная. – Почитай мне немножко! Вечер такой длинный, и я так нуждаюсь в утешении словом Божиим.

Сара покорно склонила голову, взяла христианскую Библию, раскрыла и стала читать больной. На глаза девушки часто набегали слёзы, но они становились оттого ещё яснее, а на душе у неё делалось всё светлее. «Мать, дочь твоя не примет крещения, не будет причислена к христианам; ты так

потребовала, и я исполню твой завет. Мы останемся одной веры, эта связь не будет мною нарушена здесь, на земле, но там нас ждёт – высшее единение в Боге! Он спасает нас от смерти. Он посещает землю, и если делает её жаждущею, то и обогащает её сторицею! Я понимаю это, хотя и сама не знаю, как дошла до того!.. Это всё Он разъяснил мне – Христос!»

И она вся задрожала, называя Его Святое имя; огненное крещение пронизало её душу молнией, и слабое тело не вынесло: без чувств упала девушка возле больной, за которую ухаживала день и ночь.

– Бедная Сара! – сказали люди. – Она переутомила себя работой и бодрствованием!

Её отвезли в больницу для бедных, там она и умерла; её схоронили, но не на христианском кладбище, – там было не место еврейке – а за оградой, у самой стены.

Но Божье солнышко, что светило на могилы христиан, ласкало и могилу еврейки; пение псалмов, раздававшееся над их могилами, доносилось и до её могилы. Да, и до неё доносились слова: «И воскреснем все во Христе, Боге нашем, сказавшем ученикам своим: Иоанн крестил вас водою, я же буду крестить Духом Святым».

---

<sup>[1]</sup> Паша – высокий титул в Османской империи.

Загрузка...

---

**Сказки Ханса Кристиана**

# Андерсена. Тернистый путь славы

В старой сказке говорится: «Тернист был путь славы для егеря Брюде; он хоть и достиг славы и почестей, но лишь после многих мытарств и бедствий». Многие из нас, конечно, слышали эту сказку в детстве, может быть, читали её уже взрослыми и думали о своём, никем незамеченном, тернистом пути и о «многих мытарствах». Сказка и действительность очень схожи; но в сказке счастливая развязка наступает здесь же, на земле, тогда как в действительности человек может рассчитывать на неё чаще всего – лишь там, в жизни вечной и бесконечной.

Всемирная история – волшебный фонарь, показывающий нам на тёмном фоне жизни светлые образы благодетелей человечества, мучеников ума, пробиравшихся по тернистому пути славы.

На этом фоне отражаются картины всех времён, всех стран, каждая – лишь на мгновение, но это мгновение охватывает всю земную жизнь человека с её борьбой и победами. Взглянем же хоть на некоторых из длинного, бесконечного ряда мучеников, которому и не будет конца, пока держится мир.

Перед нами переполненный зрителями амфитеатр; «Облака» Аристофана отравляют толпу ядом остроумного издевательства. Со сцены осмеивают – и с нравственной, и с физической стороны – замечательнейшего мужа Афин, спасшего народ от тридцати тиранов, спасшего в пылу битвы Алкивиада и Ксенофонта, осмеивают Сократа,<sup>[1]</sup> воспарившего духом выше богов древности. Сам он тоже в числе зрителей. И вот, он встает с своего места и выпрямляется во весь рост, – пусть видят хохочущие Афиняне, похожа ли на него карикатура. Твёрдо, несокрушимо стоит он, возвышаясь надо всеми.

Сочная, зелёная, ядовитая цикута! Тебе служить эмблемою Афин, а не оливковой ветви!

Семь городов спорили о чести считаться родиной Гомера<sup>[2]</sup> – после его смерти. А при жизни? Он проходил эти города, распевая свои

песни ради куска хлеба; волоса его седели при мысли о завтрашнем дне! Он, могучий провидец, был слеп и одинок! Острый тёрн рвал в клочья плащ царя поэтов.

А песни его живут и поныне, и в них одних живут древние боги и герои.

Картина за картиною выступает на тёмном фоне; в одной отражается восток, в другой запад, в одной седая древность, в другой недавнее прошлое; но несмотря на всё различие их по времени и месту, все они изображают одно – тернистый путь славы, на котором тёрн зацветает лишь к тому времени, когда нужно украсить цветами могилу.

В тени пальм движутся верблюды, нагруженные индиго и другими драгоценными товарами; они посланы владельцем страны в дар тому, чьи песни – радость народа, слава страны, тому, кого зависть и клевета изгнали из родной страны. Караван приближается к маленькому городку, где певец нашёл убежище; из города выносят навстречу каравану бедный гроб. Хоронят как раз того, кого ищет караван – Фирдуси!<sup>[3]</sup> Тернистый путь славы пройден им до конца!

На мраморной лестнице дворца, в столице Португалии, сидит негр, с грубыми чертами лица, с толстыми губами и чёрными, жёсткими волосами, и просит милостыню. Это – верный раб Камозанса;<sup>[4]</sup> без него и без тех грошей, что бросают ему прохожие, господин его, «певец Лузиады», умер бы с голода. Теперь над могилою Камозанса – великолепный памятник.

Ещё картина.

За железною решёткой виднеется человек: лицо его бледно, длинная борода всклокочена. «Я сделал величайшее открытие!» кричит он: «а меня больше двадцати лет держат в заключении!» Кто он? – «Безумец!» говорит сторож. «Чего, ведь, не взбрёт на ум человеку! Он воображает, что можно двигаться вперёд силою пара!» Это Саломон де-Ко,<sup>[5]</sup> открывший силу пара, но не сумевший растолковать неясно брезжившей в его уме идеи могущественному Ришелье. Несчастный провёл весь остаток жизни в сумасшедшем доме.

Вот Колумб!<sup>[6]</sup> Над ним глумились когда-то даже уличные мальчишки, – он, ведь, хотел открыть Новый свет! Он и открыл его! И звон колоколов встречает торжественный въезд его, но колокола зависти скоро заглушают этот звон, и вот, того, кто открыл Новый свет, как бы поднял золотой американский материк со дна моря и подарил его своему королю – награждают железными цепями! Он велит положить их с собою в гроб, как знаменательное выражение благодарности света и современников. Картина сменяет картину; никогда не пустеет тернистый путь славы!

Вот в глубоком мраке сидит тот, кто измерил лунные горы, кто как бы пронизал мировое пространство своим острым духовным взором, уловил могучим умом «сокровенное» природы, понял, что земля движется под ним – Галилей.<sup>[7]</sup> Слепой, глухой старец как бы пригвождён к месту колючками тёрна, – так терзает его отречение. Теперь он не в силах даже поднять ногу, которою когда-то, в минуту душевной боли, при виде попираемой истины, топнул о землю и вскричал: «А всё-таки она движется»!

Вот стоит женщина, дитя душою, исполненная божественного восторга и веры; знамя несёт она перед воинствующею ратью и дарует своему отечеству победу и спасение. Раздаются клики ликования и – зажигается костёр; Иоанну Д'Арк,<sup>[8]</sup> колдунью, сжигают. А следующие поколения забрасывают белую лилию грязью: Вольтер, сатир остроумия, воспеваает «La ruselle».

Вот в Виборге датское дворянство сжигает законы короля. Они горят ярким пламенем, освещая эпоху и самого законодателя, отбрасывая сияние во внутрь мрачной темницы, где он сидит седой, согбенный, проводя пальцем борозду вокруг каменного стола. Это он – некогда повелитель трёх северных государств, любимец народа, друг крестьян и граждан – Христиан Второй.<sup>[9]</sup> Суровая была в нём душа, да и в суровое время жил он. Враги писали его историю. Но мы, вспоминая его кровавые деяния, припомним и двадцать семь лет его заключения.

От берегов Дании отплывает корабль; прислонясь к высокой мачте, стоит человек и бросает прощальный взгляд на остров

Вэн. Это Тихо-Браге.<sup>[10]</sup> Он вознёс имя Дании к звёздам и вознаграждён за то обидами и огорчениями. Теперь он отплывает в чужую землю, говоря: «Небо есть везде, чего же мне больше?» Он отплывает из родной земли, наш знаменитейший муж; в чужой земле ждут его почести и свобода.

«Ах свобода... свобода – хотя бы от невыносимых страданий тела!» – долетает до нас стон из глубины времён. Это что за картина? – Гриффенфельд,<sup>[11]</sup> датский Прометей, прикованный к скалистому острову Мункгольму!

Мы в Америке, у одной из больших рек; по берегам толпится народ; сейчас должен поплыть корабль против течения и ветра, преодолевая сопротивление стихий. Роберт Фультон<sup>[12]</sup> верит в возможность этого. Корабль трогается и вдруг – стоп! Толпа хохочет, свищет, – в том числе и отец самого Фультона. «И поделом тебе, гордец, безумец! Под замок сумасброда!» Но вот маленький гвоздик, остановивший на минуту движение машины, ломается, колёса вертятся, лопасти преодолевают сопротивление волн, и корабль плывёт! Паровой чёлн превращает часы в минуты, проплывая расстояния между землями с неведомою доселе быстротой.

Род человеческий! Понятно ли тебе блаженство такой минуты – высокого просветления духа, сознания им своей миссии, минуты, когда все истязания, претерпённые на тернистом пути славы, становятся целебным бальзамом, дающим здоровье, силу и ясность, когда дисгармония становится гармонией, и люди видят откровение Божье, данное одному, а через него ставшее достоянием всех?

Тернистый путь славы опоясывает землю сияющею лентой; блаженны избранные, идущие по нему, без заслуг поставленные на этот мост, созданный Великим Зодчим, чтобы соединить землю с небом. На мощных крылах несётся дух истории через тьму времён и показывает нам – чтобы ободрить, утешить нас, пробудить в нас кротость – сияющие на чёрном фоне тернистого пути славы яркие картины. Путь этот не завершается, как в сказке, блеском и радостью здесь же, на земле, но ведёт туда, в жизнь вечную и бесконечную.

- 
- [1] Сократ – древнегреческий философ.
- [2] Гомер – легендарный древнегреческий поэт-сказитель.
- [3] Фирдоуси – персидский поэт.
- [4] Камознс, Луис де – португальский поэт.
- [5] Косс, Саломон де – французский учёный, инженер.
- [6] Колумб, Христофор – испанский мореплаватель.
- [7] Галилей, Галилео – итальянский физик, механик, астроном, философ и математик.
- [8] Жанна д'Арк – национальная героиня Франции.
- [9] Кристиан II – король Дании, Норвегии, Швеции.
- [10] Браге, Тихо – датский астроном, астролог и алхимик.
- [11] Гриффенфельд – знаменитый государственный деятель; род. 1635 † 1699; провёл в заключении 22 года.
- [12] Фултон, Роберт – американский инженер и изобретатель.



 Загрузка...

---

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Иб и Христиночка



Неподалеку от реки Гуден по Силькеборгскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его, с западной стороны, стоял, да и теперь стоит крестьянский домик. Почва тут скудная; песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. Тому минуло уже много лет. Хозяева домика засевали маленькое поле, держали трех овец, свинью да двух волов – словом, кормились кое-как; что есть – хорошо, а нет – и не спрашивай! Могли бы они держать и пару лошадей, да говорили, как и другие тамошние крестьяне:

– Лошадь сама себя съедает, – коли дает что, так и берет столько же!

Йеппе Йенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Держал он и помощника, парня; тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков, они резали и ложки, и зашибали-таки денежки, так что Йеппе Йенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками.

Единственный их сынишка, семилетний Иб, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки, конечно, резал себе при этом пальцы, но наконец вырезал-таки из двух обрубков что-то вроде маленьких деревянных башмачков – «в подарок Христиночке», – сказал он. Христиночка, дочка барочника, была такая хорошенькая, нежная, словно барышня; будь у нее и платья под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной

хижине, крытой вереском, в степи Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из лесу на Силькеборгские угриные тони, а иной раз и дальше, в Рандерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Христиночку дома, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Рандерс, девочка оставалась у Йеппе Йенса.

Иб и Христиночка были большими друзьями и в играх и за столом. Они копались и рылись в песке, ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж и – марш в лес; там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие!

Иб сроду еще не бывал в степи, не случилось ему и проплывать из реки Гуден в озера; вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой.

Ранним утром барка отплыла; на самом верху сложенных в поленницы дров восседали ребяташки, уплетая хлеб и малину; барочник и помощник его отталкивались шестами, течение помогало им, и барка летела стрелой по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт глухой стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе, и проход находился, хотя старые деревья и нависали над водой сплошную сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви, – великаны деревья словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые жилистые руки! Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки... Славное было путешествие! Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шумно бежала вода. Было на что посмотреть тут и Христиночке и Ибу!

В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживляли только шум воды да крики диких уток. Доставив дрова на место, отец Христины купил большую связку угрей и битого поросенка; припасы уложили в корзинку и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть

против течения, но ветер был попутный, они поставили паруса, и барка задвигалась, словно ее везла пара добрых коней.

Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели! Надо же было заглянуть в корзину, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и подержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому и другому, и вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас что такое!

Иб спрыгнул на берег и пустился удирать, но едва пробежал несколько шагов, как к нему присоединилась и Христина.

– И я с тобою! – закричала она, и дети живо очутились в кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немножко, Христиночка упала и заплакала. Иб поднял ее.

– Ну, пойдем вместе! – сказал он ей. – Дом-то ведь вон там!

То-то, что не там. Шли, шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками, и вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут закричал орел: какой неприятный крик! Детишки струхнули было, да увидали как раз перед собою невероятное множество чудеснейшей голубики. Как тут устоять? И оба взапуски принялись рвать да есть горстями, вымазали себе все руки, губы и щеки! Опять послышался оклик.

– А достанется нам за поросенка! – сказала Христина.

– Пойдем лучше домой, к нам! – сказал Иб. – Это ведь здесь же, в лесу!

И они пошли, вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина; лишь изредка раздавался резкий, неприятный крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы... Наконец дети застряли в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на

сухих листьях и уснули.

Солнышко было уже высоко, когда они проснулись.

Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко; надо было взобраться туда, решил Иб: там они согреются, и оттуда же можно будет увидеть дом его родителей. Увы! Дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко! Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом; внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и толкались на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не ожидали. Вдобавок, края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами; в некоторых гнездышках сидело даже по семи! Дети рвали, щелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг – вот страх-то! – из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными как смоль волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за спиной у нее был узел, в руках суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, а она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи – в каждом спрятаны чудеснейшие вещи!

Иб поглядел на нее; она смотрела так ласково; он собрался с духом и попросил у нее орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих.

Иб и Христиночка тарاشились на волшебные орехи.

– Что ж, в нем карета и лошади? – спросил Иб, указывая на один.

– Да еще золотая, и лошади тоже золотые! – ответила старуха.

– Дай его мне! – сказала Христиночка.

Иб отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек девочки.

– А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Христины? – спросил Иб.

– Целых десять! – ответила старуха. – Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа!

– Так дай мне и этот! – сказала Христина.

Иб отдал ей и другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький.

– Этот оставь себе! – сказала Христина. – Он тоже хороший.

– А что в нем? – спросил Иб.

– То, что для тебя будет лучше всего! – сказала цыганка.

И Иб крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли, но совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей.

Наконец уж дети наткнулись как-то на лесничего Крэна. Он знал Иба и привел детей домой, где все были в страшном переполохе. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розог, во-первых, за то, что упустили в воду поросенка, а во-вторых, за то, что убежали.

Христина вернулась домой в степь, а Иб остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищепил его дверью, и орех раскололся, но в нем не оказалось даже зернышка – одна черная пыль, земляца, вроде нюхательного табака. Орех-то был с червоточинкой, как говорится.

– Так я и думал! – сказал себе Иб. – Как могло бы «то, что для меня лучше всего», уместиться в таком крошечном орешке? И Христина не получит из своих ни платьев, ни золотой кареты!

Пришла зима, пришел и Новый год.

Прошло несколько лет. Иб начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним

барочник и рассказал родителям Иба, что Христиночка поступает в услужение, – пора ей зарабатывать свой хлеб. И счастье ей везет: она поступает к хорошим, богатым людям – подумайте, к самим хозяевам постоянного двора в Гернинге! Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя совсем.

И вот Иб распрощался с Христиной, а их давно уже прозвали женихом и невестой. Христиночка показала Ибу на прощанье те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и сказала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмачки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они и расстались.

Иба конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом работал в поле; у матери не было другого помощника – отец Иба умер.

Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, получал он известия о Христине. Ей жилось у хозяев отлично, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие.

Следующею весною в один прекрасный день в дверь домика Иба постучали, и явился барочник с Христиной. Она приехала навестить отца, – выдался случай доехать с кем-то до Тэма и обратно. Она была прехорошенькая, совсем барышня на вид и одета очень хорошо; платье сидело на ней ловко и очень шло к ней, словом – она была в полном параде, а Иб встретил ее в старом, будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Христиночка щебетала без умолку; мастерица была поговорить! И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы!

– Разве ты не узнаешь меня? – спрашивала она его.

А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только:

– Право, ты словно важная дама, Христина, а я такой растрепан! А как часто я вспоминал тебя... и доброе старое время!

И они пошли рука об руку на кряж, любовались оттуда рекою и степью, поросшею вереском, но Иб все не говорил ни слова, и только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Христина должна стать его женой; их ведь еще в детстве звали женихом и невестой, и ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом. Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе: Христине надо было торопиться в Тэм, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тэма: ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Христиной и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он наконец заговорил. Немного он сказал, но каждое его слово шло прямо от сердца:

– Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью и выйти за меня замуж, то... мы могли бы когда-нибудь пожениться!.. Но, конечно, надо обождать немного!

– Конечно, подождем! – сказала Христина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы. – Я верю тебе, Иб! – продолжала она. – И думаю, что люблю тебя сама, но все же надо подумать!

С тем они и расстались. Иб сказал ее отцу, что они с Христиной почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова.

Прошел год. Иб и Христина обменялись двумя письмами. «Верный – верная – до гроба», подписывались они оба. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Христины поклон и... да, тут слова как будто застряли у него в горле... В конце концов дело, однако, выяснилось. Христине жилось очень хорошо, она была такою

красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приехавший навестить родителей – он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе, – полюбил ее. Ей он тоже понравился, родители, казалось, были не прочь, но Христину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней... «И вот она хочет отказаться от своего счастья», – закончил барочник.

Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел как полотно, затем тряхнул головой и сказал:

– Христина не должна отказываться от своего счастья!

– Так напиши ей несколько слов! – сказал отец Христины.

Иб и написал, но не сразу; мысли все что-то не выливались у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал письмо за письмом в клочки. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно:

«Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся с своим сердцем, Христина, подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня; недостатков больших у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье! Я тебя не связывал никаким словом, а если ты и дала его мне мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе бог всякого счастья, Христиночка! Господь же утешит и меня!

Вечно преданный друг твой

Иб».

Письмо было отправлено, и Христина получила его. Около Мартынова дня в ближней церкви огласили помолвку Христины; в одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, тоже. И скоро Христина с хозяйкой отправились в столицу, – жених не мог надолго бросать свое дело. Христина должна была, по уговору, встретиться со своим отцом в местечке Фундер – оно лежало как

раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу сообщить ему о свидании с дочерью; Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым, по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Христине; то были волшебные орехи: в одном была золотая карета и лошади, в другом – чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене! Да, для нее все вышло, как по писаному, а Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего», – сказала ему цыганка; да, так оно и есть: теперь он понимал смысл ее слов – в черной земле, в могиле, ему и будет лучше всего!

Прошло еще несколько лет; как долго тянулись они для Иба! Старики хозяева постоянного двора умерли один за другим, и все богатство, много тысяч риксдалеров, досталось сыну. Теперь Христина могла обзавестись даже золотой каретой, а не только чудесными платьями.

Потом целых два года о Христине не было ни слуху ни духу; наконец отец получил от нее письмо, но не радостные оно принесло вести. Бедняжка Христина! Ни она, ни муж ее не умели беречь денег, и богатство их как пришло, так и ушло; оно не пошло им впрок – они сами того не хотели.

Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносило снегом и степь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весной Иб шел по полю за плугом; вдруг плуг врезался во что-то твердое – кремень, как ему показалось, и из земли высунулась как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидел, что это не дерево, а металл, блестящий в том месте, где его резануло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое кольцо героической эпохи. На том месте, где теперь расстилалось вспаханное поле, возвышался когда-то древний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал кольцо священнику, тот объяснил ему, какое оно дорогое, и Иб

пошел к местному судье; судья дал знать о драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует.

– Лучше этого земля не могла дать тебе ничего! – прибавил судья.

«Вот оно! – подумал Иб. – Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего! Значит, цыганка была права!»

Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаванием, – до сих пор он ведь плывал лишь по своей речке Гуден. И вот он добрался до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму: целых шестьсот риксдалоров. Несколько дней бродил степняк Иб по чужому, огромному городу и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост и вместо того, чтобы идти к Западным воротам, попал в Христианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу; она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб сейчас же спросил – о чем; девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо – Иб глазам своим не поверил: перед ним стояла живая Христиночка, какую он помнил ее в дни ее детства!

Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, скользкой лестнице на чердак, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахнуло тяжелым, удушливым воздухом; в каморке было совсем темно и тихо; только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка.

– Не могу ли я помочь вам? – спросил Иб. – Малютка зазвала меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же, нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам

на помощь?

И он приподнял голову больной.

Это была Христина из степи Сейс. Много лет при Ибо не упоминалось даже ее имени – это бы потревожило его, тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Молва правду говорила, что большое наследство совсем вскружило голову мужу Христины; он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода, вернулся обратно и стал прожигать денежки. Все больше и больше наклонялась телега и наконец опрокинулась вверх дном! Веселые друзья-собутельники заговорили, что этого и нужно было ожидать, – разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым!

Дни Христины тоже были сочтены; младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним... Умиравшая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какую могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности, в степи Сейс, но не теперь, после того как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Христиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба!

– Я боюсь, что умру, оставляю мою бедную крошку круглой сиротой! – простонала больная. – Куда она денется?!

Больше она говорить не могла.

Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечи, зажег его и осветил жалкую каморку.

Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Христиночку – подружку детских лет... Да, ради той Христиночки он должен взять на себя заботы об этой, чужой для него девочке! Умиравшая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись... Узнала ли она его? Неизвестно; он не услышал от нее больше ни единого слова.

Мы опять в лесу, у реки Гуден, близ степи Сейс. Осень; небо

серо, вереск оголился, западные ветры так и рвут с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по степи, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди. А у подножия горного кряжа, в защищенном от ветра месте, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием: оно льется из двух детских глазок, из розового смеющегося ротика раздаётся щебетание жаворонка; весело, оживленно в комнате: тут живет Христиночка. Она сидит у Иба на коленях; Иб для нее и отец и мать, настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Христиночкой припеваючи. А мать девочки покоится на кладбище для бедных в Копенгагене.

У Иба водятся в сундуке деньжонки; он достал их себе из земли, – говорят про него. У Иба есть теперь и Христиночка!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ганс Чурбан



Была в одной деревне старая усадьба, а у старика, владельца ее, было два сына, да таких умных, что и вполнину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно, – она сама объявила, что выберет себе в мужа человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю, – больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года – одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, – думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки, – вот какой был искусник!

– Уж я-то добуду королевскую дочь! – говорили и тот и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат, – всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ганс Чурбан.

– Куда это вы так разрядились? – спросил он.

– Едем ко двору «выговорить» себе королеву! Ты не слышал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

– Эге! Так и я с вами! – сказал Ганс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

– Отец, дай мне коня! – закричал Ганс Чурбан. – Меня страсть

забрала охота жениться! Возьмет королева меня – ладно, а не возьмет – я сам ее возьму!

– Пустомеля! – сказал отец. – Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои – те молодцы!

– Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! – И Ганс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты, ну как понесся!

– Знай наших! – закричал он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевой, – тут ведь надо было держать ухо востро.

– Го-го! – закричал Ганс Чурбан. – Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

– Чурбан! – сказали те.– Куда ты ее тащишь?

– В подарок королевне!

– Вот, вот! – сказали они, расхохотались и уехали вперед.

– Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге! Братья опять обернулись посмотреть.

– Чурбан! – сказали они. – Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?

– И его подарю! – ответил Ганс Чурбан.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.

– Го-го! Вот и я! – опять закричал Ганс Чурбан. – Нет, чем

дальше, тем больше! Го-го!

– Ну-ка, что ты там еще нашел? – спросили братья.

– А, нет, не скажу! Вот обрадуется-то королева!

– Тьфу! – плюнули братья. – Да ведь это грязь из канавы!

– И еще какая! – ответил Ганс Чурбан. – Первейший сор, в руках не удержишь, так и течет!

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распорол бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна, – любопытно было посмотреть, как королева принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

– Не годится! – говорила королева. – Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, – просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

– Какая жара здесь! – сказал наконец жених.

– Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! – сказала королева.

Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

– Э-э! – проговорил он.

– Не годится! – сказала королева.– Вон!

Пришлось ему убраться восвояси. За ним явился к королеве другой брат.

– Ужасно жарко здесь! – начал он.

– Да, мы жарим сегодня петушков! – ответила королева.

– Как, что, ка..? – пробормотал он, и все писцы написали: «как, что, ка..?»

– Не годится! – сказала королева.– Вон!

Тут явился Ганс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

– Вот так жарница! – сказал он.

– Да, я жарю петушков! – ответила королева.

– Вот удача! – сказал Ганс Чурбан. – Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

– Можно! – сказала королева. – А у тебя есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

– У меня найдется! – сказал Ганс Чурбан. – Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону.

– Да это целый обед! – сказала королева. – Но где ж нам взять подливку?

– А у меня в кармане! – ответил Ганс Чурбан. – У меня ее

столько, что девать некуда, хоть бросай! И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

– Вот это я люблю! – сказала королева. – Ты скор на ответы, за словом в карман не лазишь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца, да еще один советник? А советник-то хуже всех – ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ганса. А писцы заржали и посадили на пол кляксы.

– Ишь, какие господа! – сказал Ганс Чурбан. – Вот я сейчас угощу его!

И он, не долго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью.

– Вот это ловко! – сказала королева. – Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Ганс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон.

Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный совет, а на нее не след полагаться.

Загрузка...

---

**Сказки Ханса Кристиана**

# Андерсена. Свинья-копилка



Высоко на шкафу стояла глиняная копилка в виде свиньи. В спине у нее, конечно, была щель, только ее еще расширили ножом, чтобы проходили монеты и покрупнее, и две такие монеты в копилке уже лежали, не считая множества помельче. Копилка была набита битком, так что уж и не брякала даже, а о большем ни одной свинье с деньгами не о чем и мечтать. Стояла она на шкафу и смотрела на все в комнате сверху вниз – она ведь могла купить все это, а такая мысль хоть кому придает уверенность в себе.

Все окружающие помнили об этом, хотя и не высказывали вслух – у них и без того было о чем поговорить. Ящик комода был приоткрыт, и оттуда высовывалась большая кукла, уже не новая и с подклеенной шеей. Поглядев по сторонам, она сказала:

– Давайте играть в людей – это всегда интересно!

Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть оборотная сторона, и против этого нечего возразить.

Была полночь. В окна светил месяц, предлагая всем бесплатное освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она и принадлежала к громоздкому,

низшему разряду игрушек.

– Всяк хорош по-своему! – говорила она. – Не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится!

Письменное приглашение получила только одна свинья-копилка – она стояла так высоко, что устное, могла и не услышать, рассудили игрушки. Ну, а она даже не ответила, придет или нет, – и не пришла. И если желают ее общества, то пусть сделают так, чтобы она видела все со своего места. Ну так и сделали.

Кукольный театр поставили прямо перед ней, вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом предполагалось общее чаепитие и обмен мнениями.

Начали с конца. Лошадь-качалка заговорила о тренировках и чистоте породы, детская коляска – о железных дорогах и силе пара. Все это было по их части, так кому же и говорить об этом, как не им? Комнатные часы толковали о политике: «Тики-тики, тики-тики!» Про них говорили, что они знают, когда надо «ловить момент», да вот только всегда запаздывают. Бамбуковая тросточка гордилась своим железным башмачком с серебряным колпачком – она была обита сверху и снизу. На диване лежали две вышитые подушки, очень маленькие и глупенькие. И вот началось представление.

Все сидели и смотрели. Зрителей просили щелкать, хлопать и греметь в знак одобрения. Но кнут заявил, что не станет щелкает старухам, потому что щелкает только непросватанным барышням.

– А я так хлопаю всем! – сказал пистон.

– Где-нибудь да надо стоять! – сказала плевательница.

У каждого были свои мысли, которые он и высказывал во время представления. Комедия не стоила ломаного гроша, но сыграна она была превосходно. Исполнители показались публике только раскрашенной стороной, смотреть с оборотной на них не

полагалось. Все играли замечательно и даже вываливались за рампу – нитки были слишком длинны, – зато так каждый виднее. Склеенная кукла до того расчувствовалась, что расклеилась совсем, а свинья-копилка ощутила в брюхе такое благодущие, что решила сделать что-нибудь для одного из актеров – например, упомянуть его в своем завещании кфк достойного быть похороненным вместе с нею, когда придет время.

Все пришли в такой восторг, что даже отказались от чая и перешли прямо к обмену мнениями – это и называлось игрой в людей, причем тут не было никакого злого умысла, а всего лишь игра... Каждый думал лишь о себе да о том, что думает свинья с деньгами. А свинья с деньгами думала больше всех, думала о своем завещании и похоронах.

Когда придет час... А он всегда приходит скорее, чем ожидают. Бац! Свинья свалилась со шкафа на пол и разлетелась вдребезги. А монеты так и запрыгали, так и заплясали. Маленькие вертелись волчком, крупные катились солидно.

Особенно долго катилась одна – ей очень хотелось погулять по белу свету. Так оно и случилось – и она отправилась гулять по свету, и остальные тоже. А черепки от свиньи отправились в мусорный ящик. Только на шкафу на другой день красовалась новая свинья-копилка. В желудке у нее было еще пусто, и она не брякала – в этом она была схожа со старой. Для начала довольно и этого и мы на этом и закончим.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...